ЧИНГИЗ

АЙТМАТОВ

Белый пароход



Белый пароход

Чингиз Айтматов

Аннотация
Чингиз Айтматов. Белый пароход. (ПОСЛЕ СКАЗКИ)
I
II
III
IV
V
VI
VII

Аннотация

В повести «Белый пароход» Айтматов создавал своеобразный «авторский эпос», стилизованный под эпос народный. Это была сказка о Рогатой Матери-Оленихе, которую рассказывал главному герою Белого парохода, мальчику, его дед. На фоне величественного и прекрасного в своей доброте сказания особенно пронзительно ощущался трагизм судьбы ребенка, который сам обрывал свою жизнь, будучи не в силах смириться с ложью и жестокостью «взрослого» мира.

Чингиз Айтматов
Белый пароход
(ПОСЛЕ СКАЗКИ)

I

У него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал. Другая та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Об этом речь.

В тот год ему исполнилось семь лет, шел восьмой.

Сначала был куплен портфель. Черный дерматиновый портфель с блестящим металлическим замочком-защелкой, проскальзывающей под скобу. С накладным кармашком для мелочей. Словом, необыкновенный самый обыкновенный школьный портфель. С этого, пожалуй, все и началось.

Дед купил его в заезжей автолавке. Автолавка, объезжая с товарами скотоводов в горах, заглядывала иной раз и к ним на лесной кордон, в Сан-Ташскую падь.

Отсюда, от кордона, по ущельям и склонам поднимался в верховья заповедный горный лес. На кордоне всего три семьи. Но все же время от времени автолавка наведывалась и к лесникам.

Единственный мальчишка на все три двора, он всегда первым замечал автолавку.

— Едет! — кричал он, подбегая к дверям и окошкам. — Машина-магазин едет!

Колесная дорога пробивалась сюда с побережья Иссык-Куля, все время ущельем, берегом реки, все время по камням и ухабам. Не очень просто было ездить по такой дороге. Дойдя до Караульной горы, она поднималась со дна теснины на откос и оттуда долго спускалась по крутому и голому склону ко дворам лесников. Караульная гора совсем рядом — летом почти каждый день мальчик бегал туда смотреть в бинокль на озеро. И там, на дороге, всегда все видно как на ладони — и пеший, и конный, и, уж конечно, машина.

В тот раз — а это случилось жарким летом — мальчик купался в своей запруде и отсюда увидел, как запылила по откосу машина. Запруда была на краю речной отмели, на галечнике. Ее соорудил дед из камней. Если бы не эта запруда, кто знает, может быть, мальчика давно уже не было бы в живых. И, как говорила бабка, река давно бы уже перемыла его кости и вынесла бы их прямо в Иссык-Куль, и разглядывали бы их там рыбы и всякая водяная тварь. И никто не стал бы его искать и по нем убиваться — потому что нечего лезть в воду и потому что не больно кому он нужен. Пока что этого не случилось. А

случись, кто знает, — бабка, может, и вправду не кинулась бы спасать. Еще был бы он ей родным, а то ведь, она говорит, чужой. А чужой — всегда чужой, сколько его ни корми, сколько за ним ни ходи. Чужой… А что, если он не хочет быть чужим? И почему именно он должен считаться чужим? Может быть, не он, а сама бабка чужая?

Но об этом — потом, и о запруде дедовой тоже потом…

Так вот, завидел он тогда автолавку, она спускалась с горы, а за ней по дороге пыль клубилась следом. И так он обрадовался, точно знал, что будет ему куплен портфель. Он тотчас выскочил из воды, быстро натянул на тощие бедра штаны и, сам мокрый еще, посиневший — вода в реке холодная, — побежал по тропе ко двору, чтобы первым возвестить приезд автолавки.

Мальчик быстро бежал, перепрыгивая через кустики и обегая валуны, если не по силам было их перескочить, и нигде не задержался ни на секунду — ни возле высоких трав, ни возле камней, хотя знал, что были они вовсе не простые. Они могли обидеться и даже подставить ножку. «Машина-магазин приехала. Я приду потом», — бросил он на ходу «Лежащему верблюду» — так он назвал рыжий горбатый гранит, по грудь ушедший в

землю. Обычно мальчик не проходил мимо, не похлопав своего «Верблюда» по горбу. Хлопал он его по-хозяйски, как дед своего куцехвостого мерина — так, небрежно, походя; ты, мол, обожди, а я отлучусь тут по делу. Был у него валун «Седло» — наполовину белый, наполовину черный, пегий камень с седловинкой, где можно было посидеть верхом, как на коне. Был еще камень «Волк» — очень похожий на волка, бурый, с сединой, с мощным загривком и тяжелым надлобьем. К нему он подбирался ползком и прицеливался. Но самый любимый камень — это «Танк», несокрушимая глыба у самой реки на подмытом берегу. Так и жди, кинется «Танк» с берега и пойдет, и забурлит река, закипит белыми бурунами. Танки в кино ведь так и ходят: с берега в воду — и пошел… Мальчик редко видел фильмы и потому крепко запоминал виденное. Дед иногда возил внука в кино на совхозную племферму в соседнее урочище за горой. Потому и появился на берегу «Танк», готовый всегда ринуться через реку. Были еще и другие — «вредные» или «добрые» камни, и даже «хитрые» и «глупые».

Среди растений тоже — «любимые», «смелые», «боязливые», «злые» и всякие другие. Колючий бодяк, например, — главный враг. Мальчик ру-

бился с ним десятки раз на дню. Но конца этой войне не видно было — бодяк все рос и умножался. А вот полевые вьюнки, хотя они тоже сорные, — самые умные и веселые цветы. Лучше всех встречают они утром солнце. Другие травы ничего не понимают — что утро, что вечер, им все равно. А вьюнки, только пригреют лучи, открывают глаза, смеются. Сначала один глаз, потом второй, и потом один за другим распускаются на вьюнках все закрутки цветов. Белые, светло-голубые, сиреневые, разные… И если сидеть возле них совсем тихо, то кажется, что они, проснувшись, неслышно шепчутся о чем-то. Муравьи — и те это знают. Утром они бегают по вьюнкам, жмурятся на солнышке и слушают, о чем говорят цветы между собой. Может быть, сны рассказывают?

Днем, обычно в полдень, мальчик любил забираться в заросли стеблистых ширалджинов. Ширалджины высокие, цветов на них нет, а пахучие, растут они островками, собираются кучей, не подпуская близко другие травы. Ширалджины — верные друзья. Особенно, если обида какая-нибудь и хочется плакать, чтобы никто не видел, в ширалджинах лучше всего укрыться. Пахнут они, как сосновый лес на опушке. Горячо и тихо в ширалджинах. И главное — они не заслоняют неба.

Надо лечь на спину и смотреть в небо. Сначала сквозь слезы почти ничего не различить. А потом приплывут облака и будут выделывать наверху все, что ты задумаешь. Облака знают, что тебе не очень хорошо, что хочется тебе уйти куда-нибудь иди улететь, чтобы никто тебя не нашел и чтобы все потом вздыхали и ахали — исчез, мол, мальчишка, где мы теперь его найдем?.. И чтобы этого не случилось, чтобы ты никуда не исчезал, чтобы ты тихо лежал и любовался облаками, облака будут превращаться во все, чего ты ни захочешь. Из одних и тех же облаков получаются самые различные штуки. Надо только уметь узнавать, что изображают облака.

А в ширалджинах тихо, и они не заслоняют небо. Вот такие они, ширалджины, пахнущие горячими соснами…

И еще разные разности знал он о травах. К серебристым ковылям, что росли на пойменном лугу, он относился снисходительно. Они чудаки — ковыли! Ветреные головы. Ид мягкие, шелковистые метелки без ветра жить не могут. Только и ждут — куда дунет, туда они и клонятся. И кланяются все как один, весь луг, как по команде. А если дождь пойдет или гроза начнется, не знают ковыли, куда им приткнуться. Мечутся, падают,

прижимаются к земле. Были бы ноги, убежали бы, наверное, куда глаза глядят… Но это они притворяются. Утихнет гроза, и снова легкомысленные ковыли на ветру — куда ветер, туда и они…

Один, без друзей, мальчишка жил в кругу тех нехитрых вещей, которые его обступали, и разве лишь автолавка могла заставить его позабыть обо всем и стремглав бежать к ней. Что уж там говорить, автолавка — это тебе не камни и не травы какие-то. Чего там только нет, в автолавке!

Когда мальчик добежал до дому, автолавка уже подъезжала ко двору, сзади домов. Дома на кордоне стояли лицом к реке, надворье переходило в пологий спуск прямо к берегу, а на той стороне реки, сразу от размытого яра, круто восходил лес по горам, так что подъезд к кордону был один — сзади домов. Не добеги мальчик вовремя, никто и не знал бы, что автолавка уже здесь.

Мужчин в тот час никого не было, все разошлись еще с утра. Женщины занимались домашними делами. Но тут он пронзительно закричал, подбегая к раскрытым дверям:

— Приехала! Машина-магазин приехала! Женщины всполошились. Кинулись искать припрятанные деньги. И выскочили, обгоняя одна другую. Бабка и та его похвалила:

— Вот он у нас какой глазастый!

Мальчик почувствовал себя польщенным, точно сам привел автолавку. Он был счастлив оттого, что принес им эту новость, оттого, что вместе с ними ринулся на задворье, оттого, что вместе с ними толкался у открытой дверцы автофургона. Но здесь женщины сразу забыли о нем. Им было не до него. Товары разные — глаза разбегались. Женщин было всего три: бабка, тетка Бекей — сестра его матери, жена самого главного человека на кордоне, объездчика Орозкула, — и жена подсобного рабочего Сейдахмата — молодая Гульджамал со своей девочкой на руках. Всего три женщины. Но так суетились они, так перебирали и ворошили товары, что продавцу автолавки пришлось потребовать, чтобы они соблюдали очередь и не тараторили все разом.

Однако его слова не очень-то подействовали на женщин. Сначала они хватали все подряд, потом стали выбирать, потом возвращать отобранное. Откладывали, примеряли, спорили, сомневались, десятки раз расспрашивали об одном и том же. Одно им не нравилось, другое было дорого, у третьего цвет не тот… Мальчик стоял в стороне. Ему стало скучно. Исчезло ожидание чего-то необыкновенного, исчезла та радость, которую

он испытал, когда увидел на горе автолавку. Автолавка вдруг превратилась в обычную машину, набитую кучей разного хлама.

Продавец хмурился: не видно было, чтобы эти бабы собирались хоть что-нибудь купить. Зачем он ехал сюда, в такую даль, по горам?

Так оно и подучилось. Женщины стали отступать, пыл их умерился, они как бы даже устали. Начали почему-то оправдываться — то ли друг перед другом, то ли перед продавцом. Бабка первая пожаловалась, что денег нет. А денег нет в руках — товар не возьмешь. Тетка Бекей не решалась на крупную покупку без мужа. Тетка Бекей — самая несчастная среди всех женщин на свете, потому что у нее нет детей, за это и бьет ее спьяну Орозкул, потому и дед страдает, ведь тетка Бекей его, дедова, дочь. Тетка Бекей взяла кое-что по мелочи и две бутылки водки. И зря, и напрасно — самой же хуже будет. Бабка не удержалась:

— Что ж ты беду на свою голову сама кличешь? — зашипела она, чтобы продавец ее не услышал.

— Сама знаю, — коротко отрезала тетка Бекей.

— Ну и дура, — еще тише, но со злорадством прошептала бабка. Не будь продавца, как бы она сейчас отчитала тетку Бекей. Ух, они и ругаются

же!..

Выручила молодая Гульджамал. Она принялась объяснять продавцу, что ее Сейдахмат собирается скоро в город, в город деньги нужны будут, потому не может она раскошелиться.

Вот так они потолкались возле автолавки, купили товара «на грош», так сказал продавец, и разошлись по домам. Ну, разве это торговля! Плюнув вслед ушедшим бабам, продавец принялся собирать разворошенные товары, чтобы сесть за руль и уехать. Тут он заметил мальчишку.

— Ты чего, ушастый? — спросил он. У мальчишки были оттопыренные уши, тонкая шея и большая, круглая голова. — Купить хочешь? Так побыстрей, а то закрою. Деньги есть?

Продавец спрашивал так, просто от нечего делать, но мальчишка ответил уважительно:

— Нет, дядя, денег нет, — и помотал головой.

— А я думаю, есть, — с притворным недоверием протянул продавец. — Вы ведь здесь все богачи, только прикидываетесь бедняками. А в кармане у тебя что, разве не деньги.

— Нет, дядя, — по-прежнему искренне и серьезно ответил мальчик и вывернул драный карман. (Второй карман был наглухо зашит.)

— Значит, просыпались твои деньги. Поищи

там, где бегал. Найдешь.

Они помолчали.

— Ты чей будешь? — снова стал расспрашивать продавец. — Старика Момуна, что ли?

Мальчик кивнул в ответ.

— Внуком ему доводишься?

— Да. — Мальчик опять кивнул.

— А мать где?

Мальчик ничего не сказал. Ему не хотелось об этом говорить.

— Совсем она не подает о себе вестей, твоя мать. Не знаешь сам, что ли?

— Не знаю.

— А отец? Тоже не знаешь?

Мальчик молчал.

— Что ж это ты, друг, ничего не знаешь? — шутливо попрекнул его продавец. — Ну, ладно, коли так. Держи, — он достал горсть конфет. — И будь здоров.

Мальчик застеснялся.

— Бери, бери. Не задерживай. Мне ехать пора. Мальчик положил конфеты в карман и собрался было бежать за машиной, чтобы проводить автолавку на дорогу. Он кликнул Балтека, страшно ленивого, лохматого пса. Орозкул все грозился пристрелить его — зачем, мол, держать такую

собаку. Да дед все упрашивал повременить: надо, мол, завести овчарку, а Балтека увезти куда-нибудь и оставить. Балтеку дела не было ни до чего, — сытый спал, голодный вечно подлизывался к кому-нибудь, к своим и чужим без разбора, лишь бы кинули чего-нибудь. Вот такой он был, пес Балтек. Но иной раз от скуки бегал за машинами. Правда, недалеко. Только разгонится, потом вдруг повернется и потрусит домой. Ненадежная собака. Но все же бежать с собакой в сто раз лучше, чем без собаки. Какая ни есть — все-таки собака…

Потихоньку, чтобы не увидел продавец, мальчик подбросил Балтеку одну конфетку. «Смотри, — предупредил он пса. — Долго будем бежать». Балтек повизгивал, хвостом повиливал — ждал еще. Но мальчик не решился кинуть еще конфету. Можно ведь обидеть человека, не для собаки же дал он целую пригоршню.

И тут как раз дед появился. Старик ездил на пасеку, а с пасеки не видно, что делается за домами. И вот получилось, что подоспел дед вовремя, еще не уехала автолавка. Случай. Иначе не было бы у внука портфеля. Повезло в тот день мальчишке.

Старика Момуна, которого многомудрые люди прозвали Расторопным Момуном, знали все в

округе, и он знал всех. Прозвище такое Момун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить. И однако усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Момуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто. Случалось, на великих поминках какого-нибудь знатного старца из племени Бугу — а Момун был родом бугинец, очень гордился этим и не пропускал никогда поминок своих соплеменников — ему поручали резать скот, встречать почетных гостей и помогать им сходить с седла, подавать чай, а то и дрова колоть, воду носить. Разве мало хлопот на больших поминках, где столько гостей с разных сторон? Все, что ни поручали Момуну, делал он быстро и легко, и главное — не отлынивал, как другие. Аильные молодайки, которым надо было принять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управлялся Момун с работой, говорили:

— Что бы мы делали, если бы не Расторопный Момун!

И получалось, что старик, приехавший со своим

внуком издалека, оказывался в роли подручного джигита-самоварщика. Кто другой на месте Момуна лопнул бы от оскорбления. А Момуну хоть бы что!

И никто не удивлялся, что старый Расторопный Момун прислуживает гостям

— на то он и есть всю жизнь Расторопный Момун. Сам виноват, что он Расторопный Момун. И если кто-нибудь из посторонних высказывал удивление, почему, мол, ты, старый человек, на побегушках у женщин, разве перевелись в этом аиле молодые парни, — Момун отвечал: «Покойный был моим братом. (Всех бугинцев он считал братьями. Но не в меньшей мере они приходились „братьями“ и другим гостям.) Кто же должен работать на его поминках, если не я? На то мы, бугинцы, и в родстве от самой прародительницы нашей — Рогатой матери-оленихи. А она, пречудная мать-олениха, завещала нам дружбу И в жизни, и в памяти…»

Вот такой он был. Расторопный Момун!

И старый, и малый были с ним на «ты», над ним можно было подшутить — старик безобидный; с ним можно было и не считаться — старик безответный. Не зря, говорят, люди не прощают тому, кто не умеет заставить уважать себя. А он

не умел.

Он многое умел в жизни. Плотничал, шорничал, скирдоправом был; когда был еще помоложе, такие в колхозе скирды ставил, что жалко было их разбирать зимой: дождь стекал со скирды, как с гуся, а снег крышей двускатной ложился. В войну трудармейцам в Магнитогорске заводские стены клал, стахановцем величали. Вернулся, дома срубил на кордоне, лесом занимался. Хотя и числился подсобным рабочим, за лесом-то следил он, а Орозкул, зять его, большей частью по гостям разъезжал. Разве когда начальство нагрянет — тут уж Орозкул сам и лес покажет, и охоту устроит, тут уж он был хозяином. За скотом Момун ходил, и пасеку он держал. Всю жизнь с утра до вечера в работе, в хлопотах прожил Момун, а заставить уважать себя не научился.

Да и наружность Момуна была вовсе не аксакальская. Ни степенности, ни важности, ни суровости. Добряк он был, и с первого взгляда разгадывалось в нем это неблагодарное свойство человеческое. Во все времена учат таких: «Не будь добрым, будь злым! Вот тебе, вот тебе! Будь злым», — а он, на беду свою, остается неисправимо добрым. Лицо его было улыбчивое и морщинистое-морщинистое, а глаза вечно вопро-

шали: «Что тебе? Ты хочешь, чтобы я сделал для тебя что-то? Так я сейчас, ты мне только скажи, в чем твоя нужда».

Нос мягкий, утиный, будто совсем без хряща. Да и ростом небольшой, шустренький, старичок, как подросток.

На что борода — и та не удалась. Посмешище одно. На голом подбородке две-три волосинки рыжеватые — вот и вся борода.

То ли дело — видишь вдруг едет по дороге осанистый старик, а борода как сноп, в просторной шубе с широким мерлушковым отворотом, в дорогой шапке, да еще при добром коне, и седло посеребренное — чем не мудрец, чем не пророк, такому и поклониться не зазорно, такому почет везде! А Момун уродился всего лишь Расторопным Момуном. Пожалуй, единственное преимущество его состояло в том, что он не боялся уронить себя в чьих-то глазах. (Не так сел, не то сказал, не так ответил, не так улыбнулся, не так, не так, не то…) В этом смысле Момун, сам того не подозревая, был на редкость счастливым человеком. Многие люди умирают не столько от болезней, сколько от неуемной, снедающей их вечной страсти — выдать себя за большее, чем они есть. (Кому не хочется слыть умным,

достойным, красивым и к тому же грозным, справедливым решительным?..) А Момун был не таким. Он был чудаком, и относились к нему, как к чудаку.

Одним можно было сильно обидеть Момуна: позабыть пригласить его на совет родственников по устройству чьих-либо поминок… Тут уж он крепко обижался и серьезно переживал обиду, но не оттого, что обошли его, — на советах он все равно ничего не решал, только присутствовал, — а оттого, что нарушалось исполнение древнего долга.

Были у Момуна свои беды и горести, от которых он страдал, от которых он плакал по ночам. Посторонние об этом почти ничего не знали. А свои люди знали.

Когда увидел Момун внука возле автолавки, сразу понял, что мальчик чем-то огорчен. Но поскольку продавец приезжий человек, то вначале старик обратился к нему. Быстро соскочил с седла, протянул сразу обе руки продавцу.

— Ассалам-алейкум, большой купец! — сказал он полушутя-полусерьезно. — В благополучии ли прибыл твой караван, удачно ли идет твоя торговля? — весь сияя, Момун тряс руку продавца. — Сколько воды утекло, как не виделись!

Добро пожаловать!

Продавец, снисходительно посмеиваясь над его речью и неказистым видом — все те же расхоженные кирзовые сапоги, холщовые штаны, сшитые старухой, потрепанный пиджачок, побуревшая от дождей и солнца войлочная шляпа, — отвечал Момуну:

— Караван в целости. Только вот получается — купец к вам, а вы от купца по лесам да по долам. И женам наказываете держать копейку, как душу перед смертью. Тут хоть завали товарами, не раскошелится никто.

— Не взыщи, дорогой, — смущенно извинялся Момун. — Знали бы, что приедешь, не разъезжались бы. А что денег нет, так ведь на нет и суда нет. Вот продадим осенью картошку…

— Сказывай! — перебил его продавец. — Знаю я вас, баев вонючих. Сидите в горах, земли, сена сколько хочешь. Леса кругом — за три дня не объедешь. Скот держишь? Пасеку держишь? А копейку отдать — жметесь. Купи вот шелковое одеяло, швейная машинка осталась одна.

— Ей-богу, нет таких денег, — оправдывался Момун.

— Так уж я и поверю. Скаредничаешь, старик, деньгу копишь. А куда?

— Ей-богу, нет, клянусь Рогатой матерью-оленихой!

— Ну, возьми вельвета, штаны новые сошьешь.

— Взял бы, клянусь Рогатой матерью-оленихой…

— Э-э, да что с тобой толковать! — махнул рукой продавец. — Зря приехал. А Орозкул где?

— С утра еще подался, кажется, в Аксай. Дела у чабанов.

— Гостит, стало быть, — понимающе уточнил продавец.

Наступила неловкая пауза.

— Да ты не обижайся, милый, — снова заговорил Момун. — Осенью, бог даст, продадим картошку…

— До осени далеко.

— Ну, коли так, не обессудь. Ради бога, зайди, чаю попьешь.

— Не за тем я приехал, — отказался продавец. Он стал закрывать дверцу фургона и тут-то и сказал, глянув на внука, который стоял подле старика уже наготове, держа за ухо собаку, чтобы бежать за машиной:

— Ну, купи хотя бы портфель. Мальчишке-то в школу пора, должно быть? Сколько ему?

Момун сразу ухватился за эту идею: хоть что-то он да купит у настырного автолавочника, и внуку действительно нужен портфель, нынешней осенью ему в школу.

— А верно ведь, — засуетился Момун, — я и не подумал. Как же, семь, восьмой уже. Иди-ка сюда, — позвал он внука.

Дед порылся в карманах, достал припрятанную пятерку.

Давно она, наверно, была у него, слежалась уже.

— Держи, ушастый. — Продавец лукаво подмигнул мальчику и вручил ему портфель. — Теперь учись. А не осилишь грамоту, останешься с дедом навек в горах.

— Осилит! Он у меня смышленый, — отозвался Момун, пересчитывая сдачу.

Потом глянул на внука, неловко держащего новенький портфель, прижал его к себе.

— Вот и добро. Пойдешь осенью в школу, — негромко сказал он. Твердая, увесистая ладонь деда мягко прикрыла голову мальчика.

И тот почувствовал, как вдруг сильно сдавило горло, и остро ощутил худобу деда, привычный запах его одежды. Сухим сеном и потом работящего человека пахло от него. Верный, надежный,

родной, быть может, единственный на свете человек, который души в мальчике не чаял, был таким вот простецким, чудаковатым стариком, которого умники прозвали Расторопным Момуном… Ну и что же? Какой ни есть, а хорошо, что все-таки есть свой дед.

Мальчик сам не подозревал, что радость его будет такой большой. До сих нор он не думал о школе. До сих пор он только видел детей, идущих в школу, — там, за горами, в иссык-кульских селах, куда они с дедом ездили на поминки знатных бугинских стариков. А с этой минуты мальчик не расставался с портфелем. Ликуя и хвалясь, он обежал тотчас всех жителей кордона. Сначала показал бабке, — вот, мол, дед купил! — потом тетке Бекей — она тоже порадовалась портфелю и похвалила самого мальчика.

Редко когда тетка Бекей бывает в добром настроении. Чаще — мрачная и раздраженная — она не замечает своего племянника. Ей не до него. У нее свои беды.

Бабка говорит: были бы у ней дети, совсем другой женщиной была бы она. И Орозкул, муж ее, тоже был бы другим человеком. Тогда и дед Момун был бы другим человеком, а не таким, какой он есть. Хотя у него были две дочери — тетка

Бекей да еще мать мальчика, младшая дочь, — а все равно плохо, плохо, когда нет своих детей; еще хуже, когда у детей нет детей. Так говорит бабка. Пойми ее…

После тетки Бекей мальчик забежал показать покупку молодой Гульджамал и ее дочке. А отсюда пустился на сенокос к Сейдахмату. Опять бежал мимо рыжего камня «Верблюда» и опять не было времени похлопать его по горбу, мимо «Седла», мимо «Волка» и «Танка», а дальше все по берегу, по тропе через облепиховый кустарник, потом по длинному прокосу на лугу он добежал до Сейдахмата.

Сейдахмат сегодня здесь был один. Дед давно уже выкосил свою делянку, заодно и делянку Орозкула. И сено уже свезли они — бабка с теткой Бекей сгребали. Момун накладывал, а он помогал деду, подтаскивал сено к телеге. Сложили возле коровника две скирды. Дед их так аккуратно свершил, что никакие дожди не затекут. Гладкие, как гребнем очесанные скирды. Каждый год так. Орозкул сено не косит, все на тестя валит — начальник как-никак. «Захочу, — говорит, — в два счета повыгоняю вас с работы». Это он на деда и Сейдахмата. И то по пьяному делу. Деда ему не прогнать. Кто будет тогда работать? Попробуй без

деда! В лесу работы много, особенно осенью. Дед говорит: «Лес не отара овец, не разбредется. Но присмотру за ним не меньше. Потому как пожар случится или с гор паводок ударит — дерево не отскочит, не сойдет с места, погибнет, где стоит. Но на то лесник, чтобы дерево не пропадало». А Сейдахмата Орозкул не прогонит, потому что Сейдахмат смирный. Ни во что не вмешивается, не спорит. Но хотя он парень смирный и здоровый, а ленивый, поспать любит. Потому и прибился в лесничество. Дед говорит: «Такие парни в совхозе машины гоняют, на тракторах пашут». А Сейдахмат на огороде своем картошку зарастил лебедой. Пришлось Гульджамал с ребенком на руках самой управляться с огородом.

И с началом покоса Сейдахмат затянул. Позавчера дед заругался на него. «Зимой прошлой, — говорит, — не тебя мне жалко стало, а скотину. Оттого поделился сеном. Если опять рассчитываешь на мое стариковское сено, то сразу скажи, я за тебя накошу». Проняло, с утра сегодня махал Сейдахмат косой.

Заслышав за спиной быстрые шаги, Сейдахмат обернулся, утерся рукавом рубашки.

— Ты чего? Зовут меня, что ли?

— Нет. У меня портфель. Вот. Дед купил. Я в

школу пойду.

— Из-за этого и прибежал? — Сейдахмат хохотнул. — Дед Момун такой, — повертел он пальцем возле виска, — и ты туда же! А ну, что за портфель? — Он пощелкал замочком, покрутил портфель в руках и вернул, насмешливо покачивая головой. — Постой, — воскликнул он, — в какую же школу ты пойдешь? Где она, твоя школа-то?

— Как в какую? В ферменскую.

— Это в Джелесай ходить? — подивился Сейдахмат. — Так туда через гору километров пять, не меньше.

— Дед сказал, будет на лошади меня возить.

— Каждый день туда-сюда? Чудит старик… В пору ему самому в школу поступать. Посидит с тобой на парте, кончатся уроки — и назад! — Сейдахмат покатывался со смеху. Очень ему смешно стало, когда представил себе, как дед Момун сидит с внуком за школьной партой.

Мальчик озадаченно молчал.

— Да я это так, для смеха! — объяснил Сейдахмат. Он небольно щелкнул мальчика по носу, надвинул ему на глаза козырек дедовской фуражки. Момун не носил форменную фуражку лесного ведомства, стыдился ее. («Что я, началь-

ник какой-нибудь? Я свою киргизскую шапку ни на какую другую не променяю».) И летом на Момуне была допотопная войлочная шляпа, «бывший» ак-колпак — белый колпак, отороченный черным облезлым сатином по полям, а зимой — тоже допотопный — овчинный тебетей. Зеленую форменную фуражку лесного рабочего он давал носить внуку.

Мальчику не понравилось, что Сейдахмат так насмешливо принял новость. Он хмуро поднял козырек на лоб и, когда Сейдахмат еще раз хотел щелкнуть его по носу, отдернул голову и огрызнулся:

— Не приставай!

— Ох ты, сердитый какой! — усмехнулся Сейдахмат. — Да ты не обижайся. Портфель у тебя что надо! — И потрепал его по плечу. — А теперь валяй. Мне еще косить и косить…

Поплевав на ладони, Сейдахмат снова взялся за косу.

А мальчик бежал домой опять по той же тропе и опять бегом мимо тех же камней. Некогда пока было забавляться с камнями. Портфель вещь серьезная.

Мальчик любил разговаривать сам с собою. Но в этот раз он сказал не себе — портфелю: «Ты не

верь ему, дед у меня вовсе не такой. Он совсем не хитрый, и потому над ним смеются. Потому что он совсем не хитрый. Он нас с тобой будет возить в школу. Ты еще не знаешь, где школа? Не так уж далеко. Я тебе покажу. Мы посмотрим на нее в бинокль с Караульной горы. И еще я тебе покажу мой белый пароход. Только сперва мы забежим в сарай. Там у меня спрятан бинокль. Мне бы надо смотреть за теленком, а я каждый раз убегаю смотреть на белый пароход. Теленок у нас уже большой — как потащит, не удержишь его, — а вот взял себе привычку высасывать молоко у коровы. А корова — его мать, и ей не жалко молока. Понимаешь? Матери никогда ничего не жалеют. Это Гульджамал так говорит, у ней своя девочка… Скоро корову будут доить, а потом мы погоним теленка пастись. И тогда мы полезем на Караульную гору и увидим с горы белый пароход. Я ведь с биноклем тоже так разговариваю. Теперь нас будет трое — я, ты и бинокль…»

Так он возвращался домой. Ему очень понравилось разговаривать с портфелем. Он собирался продолжить этот разговор, хотел рассказать о себе, чего еще не знал портфель. Но ему помешали. Сбоку послышался конский топот. Из-за деревьев выехал всадник на сером коне. Это был Орозкул.

Он тоже возвращался домой. Серый конь Алабаш, на котором он никому, кроме себя, не разрешал ездить, был под выездным седлом с медными стременами, с нагрудным ремнем, со звякающими серебряными подвесками.

Шляпа Орозкула сбилась на затылок, обнажив красный, низко заросший лоб. Его разбирала дрема на жаре. Он спал на ходу. Вельветовый китель, не очень умело сшитый по образцу тех, что носило районное начальство, был расстегнут сверху донизу. Белая рубашка на животе выбилась из-под пояса. Он был сыт и пьян. Совсем еще недавно сидел в гостях, пил кумыс, ел мясо до отвала.

С приходом в горы на летние выпасы окрестные чабаны и табунщики частенько зазывали Орозкула к себе. Были у него старые друзья-приятели. Но зазывали и с расчетом. Орозкул — нужный человек. Особенно для тех, кто строит дом, а сам сидит в горах; стадо не бросишь, не уйдешь, а стройматериалы где сыщешь? И в первую очередь лес? А угодишь Орозкулу — смотришь, из заповедного леса два-три бревна на выбор и увезешь. А нет, так будешь скитаться со стадом в горах, и дом твой век будет строиться…

Подремывая в седле, отяжелевший и важный

Орозкул ехал, небрежно упираясь носками хромовых сапог в стремена.

Он чуть было не слетел с лошади от неожиданности, когда мальчик побежал ему навстречу, размахивая портфелем:

— Дядя Орозкул, у меня портфель! Я пойду в школу. Вот у меня портфель.

— О, чтоб тебя! — испуганно натягивая поводья, выругался Орозкул.

Он глянул на мальчика красными спросонья, набухшими, пьяными глазами:

— Ты чего, откуда?

— Я домой. У меня портфель, я показывал его Сейдахмату, — упавшим голосом сказал мальчик.

— Ладно, играй, — буркнул Орозкул и, неуверенно покачиваясь в седле, поехал дальше.

Какое ему было дело до этого дурацкого портфеля, до этого брошенного родителями мальчишки, племянника жены, если сам он был так обижен судьбой, если бог не дал ему сына собственного, своей крови, в то время как другим дарит детей щедро, без счета?..

Орозкул засопел и всхлипнул. Жалость и злоба душили его. Жалко ему было, что жизнь пройдет без следа, и разгоралась в нем злоба к бесплодной

жене. Это она, проклятая, вот уже сколько лет ходит порожняя…

«Уж я тебе!» — мысленно пригрозил Орозкул, сжимая мясистые кулаки, и сдавленно застонал, чтобы не заплакать в голос. Он знал уже, что приедет и будет бить ее. Так случалось всякий раз, когда Орозкул напивался; этот быкоподобный мужик одуревал от горя и злобы.

Мальчик шел по тропинке следом. Он удивился, когда вдруг впереди Орозкул исчез. А тот, свернув к реке, слез с лошади, бросил поводья и пошел сквозь высокую траву напролом. Он шел, качаясь и сгибаясь. Он шел, сжимая руками лицо, вобрав голову в плечи. У берега Орозкул опустился на корточки. Пригоршнями хватал воду из реки и плескал себе в лицо.

«Наверно, у него голова разболелась от жары», — решил мальчик, увидев, что делает Орозкул. Он не знал, что Орозкул плакал и никак не мог остановить рыданий. Плакал оттого, что не его сын выбежал ему навстречу, и оттого, что не нашел в себе чего-то нужного, чтобы сказать хоть несколько человеческих слов этому мальчику с портфелем.

II

С макушки Караульной горы открывался вид во все стороны. Лежа на животе, мальчик примерял бинокль к глазам. Это был сильный полевой бинокль. Когда-то им премировали деда за долгую службу на кордоне. Старик не любил возиться с биноклем: «У меня свои глаза не хуже». Зато внук его полюбил.

В этот раз он пришел на гору с биноклем и с портфелем.

Вначале предметы прыгали, смещались в круглом оконце, затем вдруг обретали четкость и неподвижность. Это было интересней всего. Мальчик затаивал дыхание, чтобы не нарушать найденный фокус. Потом он переводил взгляд на другую точку — и снова все смещалось. Мальчик снова принимался крутить окуляры.

Отсюда все было видно. И самые высокие снежные вершины, выше которых только небо. Они стояли позади всех гор, над всеми горами и над всей землей. И те горы, что пониже снежных, — лесистые горы, поросшие понизу лиственными чащами, а поверху темным сосновым бором. И

горы Кунгеи, обращенные к солнцу; на склонах Кунгеев ничего не росло, кроме травы. И горы еще поменьше, в той стороне, где озеро, — просто голые каменистые увалы. Увалы спускались в долину, а долина смыкалась с озером. В этой же стороне лежали поля, сады, селения… Сквозь зелень посевов уже проступала разводьями желтизна — близилась жатва. Как мыши, бегали по дорогам крошечные автомашины, а за ними вились длинные пыльные хвосты. И на самом дальнем краю земли, куда только достигал взор, за песчаной прибрежной полосой густо синела выпуклая кривизна озера. То был Иссык-Куль. Там вода и небо соприкасались.

И дальше ничего не было. Озеро лежало неподвижно, сияющее и пустынное. Лишь чуть заметно шевелилась у берега белая пена прибоя.

Мальчик долго смотрел в эту сторону. «Белый пароход не появился, — сказал он портфелю. — Давай еще раз посмотрим на нашу школу».

Отсюда хорошо видна была вся соседняя лощина за горой. В бинокль можно было разглядеть даже пряжу в руках старушки, сидевшей подле дома, под окном.

Лощина Джелесай была безлесной, лишь кое-где остались после порубок старые одинокие

сосны. Когда-то был здесь лес. Теперь стояли рядами скотные дворы под шиферными крышами, виднелись большие черные кучи навоза и соломы. Здесь выращивали племенной молодняк молочной фермы. Тут же, неподалеку от скотных дворов, примостилась куцая улочка — поселок животноводов. Улочка спускалась с пологого пригорка. На самом краю ее стоял маленький дом, нежилой на вид. Это и была школа-четырехлетка. Ребята старших классов уезжали учиться в совхоз, в школу-интернат. А в этой учились малыши.

Мальчик бывал в поселке с дедом у фельдшера, когда болело горло. Теперь он пристально рассматривал в бинокль маленькую школу под бурой черепицей, с одинокой покосившейся трубой, с самодельной надписью на фанерной вывеске: «Мектеп». Он не умел читать, но догадался, что написано именно это слово. В бинокль все было видно до мельчайших, неправдоподобно мелких подробностей. Какие-то слова, нацарапанные по штукатурке стены, подклеенное стекло в оконной шибке, погорбившиеся, щербатые доски веранды. Он представил себе, как он придет сюда со своим портфелем и шагнет в ту дверь, на которой сейчас висел большой замок. А

что там, что будет там, за этой дверью?

Кончив рассматривать школу, мальчик снова направил бинокль на озеро. Но там все было по-прежнему. Белый пароход еще не показывался. Мальчик отвернулся, сел спиной к озеру и стал смотреть вниз, под гору, отложив бинокль в сторону. Внизу, прямо под горой, по дну продолговатой лощины, серебрилась бурная, порожистая река. Вместе с рекой вилась берегом дорога, и вместе с рекой дорога скрывалась за поворотом ущелья. Противоположный берег был обрывистый и лесистый. Отсюда и начинался Сан-Ташский заповедный лес, уходящий высоко в горы, под самые снега. Выше всех взбирались сосны. Среди камней и снега топорщились они темными щеточками на гребнях горных цепей.

Мальчик насмешливо рассматривал дома, сараи и пристройки во дворе кордона. Маленькими, утлыми казались они сверху. За кордоном дальше по берегу он различил свои знакомые камни. Всех их — «Верблюд», «Волк», «Седло», «Танк» — он впервые разглядел отсюда, с Караульной горы, в бинокль, тогда же дал им названия.

Мальчик озорно улыбнулся, встал и запустил в сторону двора камень. Камень упал тут же, на горе. Мальчик снова сел на место и принялся

разглядывать кордон в бинокль. Сначала через большие линзы в меньшие — дома убежали далеко-далеко, превратились в игрушечные коробочки. Валуны стали камешками. А запруда дедовская на речной отмели и вовсе показалась смешной — воробью по колено. Мальчик усмехнулся, покрутил головой и, быстро перевернув бинокль, подвел окуляры. Его любимые валуны, увеличенные до громадных размеров, казалось, уперлись лбами в стекла бинокля. «Верблюд», «Волк», «Седло», «Танк» были такие внушительные: в зазубринах, в трещинах, с пятнами ржавых лишаев по бокам; и главное — действительно очень были похожи на то, что увидел в них мальчик. «Ух ты, „Волк“ какой! А „Танк“, вот это да!..»

За валунами на отмели была дедова запруда. В бинокль хорошо видно это место у берега. Сюда, на широкую галечную отмель, вода забегала мимоходом с быстрины и, вскипая на перекатах, убегала снова в стремнину. Вода на отмели доходила до колен. Но течение было такое, что поток мог запросто унести в реку такого мальчика, как он. Чтобы не снесло течением, мальчик ухватывался за прибрежный тальник — куст рос на самом краю, одни ветки на суше, другие полоскались в реке — и окунался в воду. Ну что это за

купание? Как конь на привязи. Да еще неприятностей сколько, ругани! Бабка выговаривала деду: «Унесет в реку, пусть пеняет на себя — пальцем не шевельну. Больно нужен! Отец, мать бросили. А с меня других забот хватит, сил моих нет».

Что ей скажешь? Старая вроде и верно говорит. Но парнишку жалко: река ведь рядом, почти у дверей. Как ни стращала старуха, а все равно мальчик лез в воду. Вот тогда и решил Момун соорудить на отмели запруду из камней, чтобы было где мальчишке купаться без опаски.

Сколько каменьев перетаскал старик Момун, выбирая те, что покрупнее, чтобы течением их не укатило! Носил их, прижимая к животу, и, стоя в воде, укладывал один к одному с таким расчетом, чтобы вода свободно втекала между камнями и так же свободно вытекала. Смешной, тощий, с реденькой своей бороденкой, и мокрых, облипших на теле штанах, целый день возился он с этой запрудой. А вечером лежал пластом, кашлял, и поясницу ему было не разогнуть. Вот тут уж бабка разошлась вовсю: «Малый дурак — он и есть малый, а что про старого дурака сказать? Какого ты черта надрывался? Кормишь, поишь, так чего еще? Всякой блажи потакаешь. Ох, не доведет это до добра!..»

Как бы то ни было, а запруда на отмели получилась отличная. Теперь мальчик купался не боясь. Ухватываясь за ветку, слезал с берега и бросался в поток. И непременно с открытыми глазами. С открытыми потому, что рыбы в воде плавают с открытыми глазами. Была у него такая странная мечта: он хотел превратиться в рыбу. И уплыть.

Глядя сейчас в бинокль на запруду, мальчик представил себе, как он сбрасывает рубашку, штаны и голый, поеживаясь, лезет в воду. Вода в горных реках всегда холодная, дух занимает, но потом привыкаешь. Представил себе, как, держась за ветку тальника, бросается в поток вниз лицом. Как с шумом смыкается вода над головой, как жгуче струится под животом, по спине, по ногам. Глохнут внешние звуки под водой, и в ушах остается лишь журчанье. И он, тараща глаза, старательно смотрит на все то, что можно увидеть под водой. Глаза щиплет, глазам больно, но он горделиво улыбается себе и даже язык показывает в воде. Это он бабке. Пусть знает, вовсе и не утонет он, и вовсе ничего не боится. Потом он выпускает ветку из рук, и вода тащит его, волочит до тех пор, пока он не упрется ногами в камни запруды. Тут и дыхание кончается. Он разом выскакивает из воды, вылезает на берег и

снова бежит к тальниковому кусту. И так много раз. Хоть сто раз в день готов был купаться в дедовой запруде. До тех пор, пока, в конце концов, не превратится в рыбу. А ему обязательно, во что бы то ни стало, хотелось стать рыбой…

Разглядывая берег реки, мальчик перевел бинокль на свой двор. Куры, индюшки с индюшатами, топор, прислоненный к чурбаку, дымящий самовар и разные разности на подворье оказались такими невероятно большими, так близко они находились, что мальчик невольно протянул к ним руку. И тут, к ужасу своему, он увидел в бинокль увеличенного до слоновых размеров бурого теленка, спокойно жующего развешанное на веревке белье. Теленок жмурил от удовольствия глаза, слюни стекали с губ — так ему хорошо было в полную пасть жевать бабкино платье.

— Ах ты дурак! — Мальчик привстал с биноклем и замахал рукой. — А ну, прочь! Слышишь, убирайся прочь! Балтек, Балтек! (Пес в объективе лежал себе преспокойно под домом.) Куси, куси его! — в отчаянии приказывал он собаке.

Но Балтек и ухом не повел. Он лежал себе как ни в чем не бывало.

В эту минуту из дома вышла бабка. Увидев, что творится, старуха всплеснула руками. Схватила

метлу и кинулась к теленку. Теленок побежал, бабка за ним. Не сводя с нее бинокля, мальчик присел, чтобы не видно было его на горе. Отогнав теленка, старуха с руганью пошла к дому, задыхаясь от гнева и быстрой ходьбы. Мальчик видел ее так, как если бы был рядом с ней и даже ближе, чем рядом. Он держал ее в объективе крупным планом, как в кино, когда отдельно показывают лицо человека. Он видел ее желтые глаза, сузившиеся от ярости. Он видел, как сплошь покраснело ее морщинистое, в тяжелых складках лицо; как в кино, когда исчезнет вдруг звук, бабкины губы в бинокле быстро и беззвучно шевелились, обнажая ее щербатые, редкие зубы. Что выкрикивала старуха — не разобрать было издали, но слова ее мальчику слышались так точно и ясно, как если бы говорила она прямо под ухом. Ух, как она его бранила! Он наизусть знал: «Ну, подожди… Вернешься. Уж я тебе! И на деда не посмотрю. Сколько раз говорила, чтобы выкинул вон эту дурацкую гляделку. Опять убежал на гору. Чтоб провалился он, тот чертов пароход, чтоб он сгорел, чтоб он потонул!..»

Мальчик на горе тяжко вздохнул. Надо же было в такой день, когда купили портфель, когда он уже мечтал, как пойдет в школу, проглядеть

телка!..

Старуха не умолкала. Продолжая браниться, она разглядывала свое изжеванное платье. К ней вышла Гульджамал с дочкой. Жалуясь ей, бабка разошлась еще больше. Потрясала кулаками в сторону горы. Ее костлявый, темный кулак угрожающе маячил перед окулярами:

«Нашел себе забаву. Чтоб провалился он, чертов пароход! Чтоб он сгорел, чтоб он потонул!..»

Самовар на дворе уже кипел. Видно было в бинокль, как из-под крышки выбивались струи пара. Тетка Бекей вышла за самоваром. И тут опять началось. Бабка чуть не в нос совала ей свое изжеванное платье. На, мол, смотри на проделки твоего племянничка!

Тетка Бекей стала успокаивать ее, уговаривать. Мальчик догадывался, что она говорила. Примерно то же, что и прежде: «Успокойтесь, энеке (энеке — матушка. — Прим. авт.). Мальчик еще несмышленыш — какой с него спрос. Один он тут, друзей нет. Зачем кричать, зачем страх наводить на ребенка?»

На что бабка, несомненно, отвечала: «Ты мне не указывай. Ты сама попробуй роди, тогда узнаешь, какой спрос с детей. Чего торчит он там, на горе? Телка приарканить ему некогда. Чего он

там высматривает? Своих непутевых родителей? Тех, что родили его да разбежались по разным сторонам? Хорошо тебе, бесплодной…»

Даже на таком расстоянии мальчик увидел в бинокль, как мертвенно посерели впалые щеки тетки Бекей, как вся она заколотилась и как — он точно знал, чем должна была отплатить тетка, — она выпалила в лицо мачехе: «А ты сама-то, старая ведьма, сколько сыновей да дочерей вырастила? Ты сама-то кто есть?»

Что тут началось!.. Бабка взвыла от обиды. Гульджамал пыталась примирить женщин, уговаривала, обнимала бабку, хотела увести ее домой, но та распалялась все больше, мечась по двору как обезумевшая. Тетка Бекей схватила кипящий самовар, расплескивая кипяток, почти бегом унесла его в дом. А бабка устало опустилась на колоду. Рыдая, горько жаловалась она на свою судьбу. Теперь мальчик был позабыт, теперь доставалось самому господу богу и всему белому свету. «Это я-то! Это меня ты спрашиваешь, кто я есть? — возмущалась бабка вслед падчерице. — Да если бы не наказал меня бог, если бы не унес он моих пятерых младенцев, если бы сын мой, один-единственный, не упал восемнадцати лет под пулей на войне, если бы старик, мой нена-

глядный Тайгара, не замерз в буране с отарой овец, разве была бы я здесь, среди вас, лесных людей? Да разве я такая, как ты, неродящая? Да разве жила бы я на старости лет с отцом твоим, придурковатым Момуном? За какие грехи-провинности наказал ты меня, распроклятый бог?»

Мальчик отнял бинокль от глаз, печально опустил голову.

— Как мы теперь вернемся домой? — тихо сказал он портфелю. — Это все из-за меня и из-за теленка-дурака. И еще из-за тебя, бинокль. Ты всегда зовешь меня смотреть на белый пароход. Ты тоже виноват.

Мальчик огляделся по сторонам. Кругом горы — скалы, камни, леса. С высоты, с ледников бесшумно падали сверкающие ручьи, и только здесь, внизу, вода будто обретала наконец голос, чтобы вечно, неумолчно шуметь в реке. А горы стояли такие громадные и беспредельные. Мальчишка чувствовал себя в ту минуту очень маленьким, очень одиноким, совсем затерянным. Только он и горы, горы, всюду высокие горы.

Солнце уже склонялось к закату на озерной стороне. Стало не так жарко. На восточных склонах занялись первые, короткие тени. Солнце будет теперь опускаться все ниже, а тени поползут вниз,

к подножью гор. В эту пору дня обычно появлялся на Иссык-Куле белый пароход.

Мальчик направил бинокль к самому дальнему видимому месту и затаил дыхание. Вот он! И все забылось сразу; там, впереди, на синей-синей кромке Иссык-Куля, появился белый пароход. Выплыл. Вот он! С трубами в ряд, длинный, мощный, красивый. Он плыл, как по струне, ровно и прямо. Мальчик поспешно протер стекла подолом рубашки, еще раз поправил окуляры. Очертания парохода стали еще четче. Теперь можно было заметить, как покачивается он на волнах, как за кормой остается светлый вспененный след. Не отрываясь, мальчик с восхищением смотрел на белый пароход. Была бы на то его воля, он упросил бы белый пароход подплыть поближе, чтобы можно было видеть людей, которые на нем плыли. Но пароход не знал об этом. Он медленно и величественно шел своей дорогой, неведомо откуда и неведомо куда.

Было долго видно, как плывет пароход, и мальчик долго думал о том, как он превратится в рыбу и поплывет по реке к нему, к белому пароходу…

Когда он впервые увидел однажды с Караульной горы белый пароход на синем Иссык-Куле, сердце его так загудело от красоты такой, что он

сразу же решил, что его отец — иссык-кульский матрос — плавает именно на этом белом пароходе. И мальчик поверил в это, потому что ему этого очень хотелось.

Он не помнил ни отца, ни матери. Он ни разу не видел их. Никто из них ни разу не навестил его. Но мальчик знал: отец его был матросом на Иссык-Куле, а мать, после того как они разошлись с отцом, оставила сына у деда, а сама уехала в город. Как уехала, так и сгинула. Уехала в далекий город за горами, за озером и еще за горами.

Дед Момун как-то ездил в этот город продавать картошку. Целую неделю пропадал и, вернувшись, рассказывал за чаем тетке Бекей и бабке, что видел свою дочь, то есть его, мальчика, мать. Работала она на какой-то большой фабрике ткачихой. У нее новая семья — две дочери, которых она сдает в детсад и видит только раз в неделю. Живет в большом доме, но в маленькой комнатке, до того маленькой, что повернуться негде. А во дворе никто никого не знает, как на базаре. И все так живут — войдут к себе и сразу двери на замок. Взаперти постоянно сидят, как в тюрьме. А муж ее будто бы шофер, возит в автобусе народ по улицам. Уходит с четырех утра и допоздна. Тоже работа тяжелая. Дочь, рассказывал он, все

плакала, прощения просила. На очереди они на новую квартиру. Когда получат — неизвестно. Но когда получат, заберет сынишку к себе, если муж позволит. И просила старика пока подождать. Дед Момун сказал ей, чтобы она не печалилась. Самое главное, чтобы с мужем в согласии жила, остальное уладится. И насчет сына пусть не убивается. «Пока я жив, мальчишку никому не отдам, а умру — бог его поведет, живой человек найдет свою судьбу…» Слушая старика, тетка Бекей и бабка то и дело вздыхали и даже всплакнули вместе.

Вот тогда как раз, за чаем, и об отце зашла у них речь. Дед прослышал, будто его бывший зять, отец мальчика, все так же матросом служит на каком-то пароходе и что у него тоже новая семья, дети, то ли двое, то ли трое. Живут возле пристани. Будто бы бросил он пить. А жена новая всякий раз выходит с ребятишками на пристань его встречать. «Стало быть, — думал мальчик, — они встречают вот этот, его пароход…»

А пароход плыл, медленно удаляясь. Белый и длинный, он скользил по синей глади озера с дымами из труб и не знал, что к нему плыл мальчик, превратившись в рыбу-мальчика.

Он мечтал превратиться в рыбу так, чтобы все у него было рыбье — тело, хвост, плавники,

чешуя, — и только голова бы оставалась своя, на тонкой шее, большая, круглая, с оттопыренными ушами, с исцарапанным носом. И глаза такие же, какие были. Конечно, чтобы они при этом были не совсем такие, как есть, а глядели, как рыбьи. Ресницы у мальчика длинные, как у телка, и все время хлопают отчего-то сами по себе, Гульджамал говорит — вот бы ее дочке такие, какой бы она красавицей выросла! А зачем быть красавицей? Или красавцем? Очень нужно! Лично ему красивые глаза ни к чему, ему нужны такие, чтобы под водой глядеть.

Превращение должно было произойти в дедовой запруде. Раз — и он рыба. Затем он сразу перепрыгнул бы из запруды в реку, прямо в бурлящую стремнину, и пошел бы вниз по течению. И дальше так — выпрыгивая и оглядываясь по сторонам; неинтересно ведь плыть только под водой. Он несется по быстрой реке вдоль большого красноглинистого обрыва, через пороги, по бурунам, мимо гор, мимо лесов. Он прощается со своими любимыми валунами: «До свидания, „Лежащий верблюд“, до свидания, „Волк“, до свидания, „Седло“, до свидания, „Танк“. А когда будет проплывать мимо кордона, он выпрыгнет из воды, помашет плавником деду: „До свидания, ата,

я скоро вернусь“. Дед оторопел бы от дива такого и не знал бы, как ему быть. И бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал с дочкой — все стояли бы разинув рты. Где это видано, чтобы голова была человечья, а тело рыбье? А он им машет плавником: „До свидания, я уплываю в Иссык-Куль, к белому пароходу. Там у меня мой папа-матрос“. Балтек, наверно, кинется бежать по берегу. Собака ведь никогда такого не видела. И если Балтек решится броситься к нему в воду, он крикнет: „Нельзя, Балтек, нельзя! Утонешь!“ — а сам поплывет дальше. Пронырнет под тросами висячего моста и дальше вдоль прибрежных тугаев, и потом вниз по грохочущему ущелью выплывает прямо в Иссык-Куль.

А Иссык-Куль — это целое море. Проплывает он по волнам иссык-кульским, с волны на волну, с волны на волну — и тут навстречу белый пароход. «Здравствуй, белый пароход, это я! — скажет он пароходу. — Это я всегда смотрел на тебя в бинокль». Люди на пароходе удивились бы, сбежались смотреть на чудо. И тогда он скажет отцу своему, матросу: «Здравствуй, папа, я твой сын. Я приплыл к тебе». — «Какой же ты сын? Ты полурыба-получеловек!» — «А ты возьми меня к себе на пароход, и я стану твоим обыкновенным

сыном». — «Вот здорово! А ну, попробуем». Отец бросит сеть, выловит его из воды, поднимет на палубу. Тут он превратится в самого себя. А потом, потом…

Потом белый пароход поплывет дальше. Расскажет мальчик отцу про все, что знает, про всю свою жизнь. Про горы, среди которых он живет, про те самые камни, про реку и заповедный лес, про запруду дедову, где он учился плавать, как рыба, с открытыми глазами…

Расскажет, конечно, как ему живется у деда Момуна. Пусть отец не думает, что если прозвали человека Расторопный Момун, так, значит, он плохой. Такого деда нигде нет, самый лучший дедушка. Но он совсем не хитрый, потому все смеются над ним. А дядя Орозкул так тот и покрикивает на него — на старика! Бывает, и при людях накричит на деда. А дед, вместо того чтобы постоять за себя, все прощает дяде Орозкулу и даже работает за него в лесу, по хозяйству. Да что там, работает! Когда дядя Орозкул приезжает пьяный, так, вместо того чтобы плюнуть в его бессовестные глаза, дед подбегает к нему, ссаживает с лошади, отводит в дом, укладывает на кровать, шубой укрывает, чтобы не продрог, чтобы голова у него не болела, а коня расседлывает, чистит и

задает ему корм. И все из-за того, что тетка Бекей неродящая. А нечему так, папа? Было бы лучше: хочешь — роди, не хочешь — не надо. Деда жалко, когда дядя Орозкул бьет тетку Бекей. Лучше бы он бил самого деда. Так он мучается, когда кричит тетка Бекей. А что он может сделать? Хочет кинуться на выручку дочери, так бабка ему запрещает: «Не лезь, — говорит, — сами разберутся. Чего тебе, старому? Жена не твоя, ну и сиди». — «Так ведь дочь она моя!» А бабка: «А что бы ты делал, если б жил не рядом, дом к дому, а вдалеке? Каждый раз скакал бы верхом разнимать их? И кто бы после этого держал в женах твою дочь!»

Бабка, про которую говорю, — это не та, которая была. Ты ее, папа, наверно, и не знаешь. Это другая бабка. Родная бабушка умерла, когда я был маленький. А потом пришла эта бабка. У нас часто бывает погода непонятная — то ясно, то пасмурно, то дождь да град. Вот и бабка такая, непонятная. То добра, то зла, то совсем никакая. Когда злится — заест. Мы с дедом молчим. Она говорит, что чужого сколько ни корми, сколько ни пои, а добра от него не жди. Так ведь я же, папа, не чужой здесь. Я всегда жил с дедом. Это она чужая, она потом пришла к нам. И стала называть меня чужим.

Зимой у нас (снега наваливает мне по шейку. Ох и сугробы наметает! Если в лес, только на сером коне Алабаше и проедешь, он грудью пробивает сугробы. И ветры очень сильные: на ногах не устоишь. Когда на озере волны ходят, когда пароход твой валится с боку на бок, — знай, что наш ветер Сан-Таш качает озеро. Дед рассказывал, что очень-очень давно вражеские войска шли, чтобы захватить эту землю. И вот тогда с нашего Сан-Таша такой ветер подул, что враги не усидели в седлах. Послезали с коней, но и пешком идти не могли. Ветер сек им лица в кровь. Тогда они отвернулись от ветра, а ветер гнал их в спины, не давал остановиться и выгнал их с Иссык-Куля всех до одного. Вот как было. А мы вот живем на этом ветру! От нас он начинается. Всю зиму лес за рекой скрипит, гудит, стонет на ветру. Страшно даже.

Зимой в лесу дел не так много. Зимой безлюдно у нас совсем, не то что летом, когда приходят кочевья. Очень люблю я, когда летом на большом лугу останавливаются на ночь с отарами или табунами. Правда, утром они уходят дальше в горы, но все равно хорошо с ними. Их ребятишки и женщины приезжают на грузовиках. В грузовиках юрты везут и разные вещи. Когда устроятся

немного, мы с дедом идем поздороваться. Здороваемся со всеми за руку. И я тоже. Дед говорит, что младший всегда должен первым подавать руку людям. Кто не подает руки, тот не уважает людей. А потом дед говорит, что из семерых людей один может оказаться пророком. Это очень добрый и умный человек. И тот, кто поздоровается с ним за руку, станет счастливым на всю жизнь. А я говорю: если так, то почему этот пророк не скажет, что он пророк, и мы все поздоровались бы с ним за руку. Дед смеется: в том-то и дело, говорит он, что пророк сам не знает, что он пророк, — он простой человек. Только разбойник знает о себе, что он разбойник. Не совсем мне это понятно, но я всегда здороваюсь с людьми, хотя мне бывает немного стыдно.

А когда на луг мы приходим с дедом, тогда я не стесняюсь.

«Добро пожаловать на летовки отцов и прадедов! В благополучии ли скот и души, в благополучии ли детвора?» — это дед так говорит. А я только здороваюсь за руку. Деда все знают, и он всех знает. Ему хорошо. У него свои разговоры, он расспрашивает приезжих и сам рассказывает, как мы живем. А я с ребятами не знаю, о чем говорить. Но потом мы начинаем играть в прят-

ки, в войну — и так разыграемся, что не хочется уходить. Вот если бы всегда было лето, если бы всегда играть с ребятами на лугу!

Пока мы играем, загораются костры. Ты думаешь, папа, от костров становится совсем светло на лугу? Вовсе нет! Только у огня светло, а за кругом света темнее прежнего. А мы играем в войну, в этой тьме прячемся и наступаем; и кажется, что находишься в самом кино. Если ты командир, все тебя слушаются. Хорошо, наверно, командиру быть командиром…

А потом луна выходит над горами. При луне играть еще лучше, но дед уводит меня. Мы идем домой через луг, через кустарник. Овцы тихо лежат. Лошади пасутся вокруг. Мы идем и слышим — кто-то песню запевает. Чабан молодой, а может быть, и старый. Дед останавливает меня: «Слушай. Такие песни не всегда услышишь». Мы стоим, слушаем. Дед вздыхает. Кивает песне головой.

Дед говорит, что в прежние времена был у одного хана другой хан в плену. Вот этот хан и говорит хану-пленнику: «Если желаешь — будешь жить у меня рабом, или я исполню твое самое заветное желание и после убью тебя». Тот подумал и отвечает: «Жить рабом не желаю. Лучше убей меня,

но перед этим позови с моей родины первого встречного пастуха». — «Зачем он тебе?» — «Хочу услышать перед смертью, как он поет». Дед говорит: за родную песню люди жизнь отдают. Какие это такие люди, увидеть бы их. Наверно, живут в больших городах?

— А слушать хорошо, а! — шепчет дед. — Какие песни пели, бог ты мой!..

Не знаю почему, мне становится так жаль моего деда, и я так люблю его, что хочется плакать…

Рано утром на лугу уже никого нет. Угнали овец и лошадей дальше, в горы, на все лето. Вслед за ними приходят другие кочевья, из других колхозов. Днем не задерживаются, проходят мимо. А на ночь останавливаются на лугу. И мы идем с дедом здороваться с людьми. Очень он любит здороваться с людьми, и я от него научился. Может быть, когда-нибудь я поздороваюсь на лугу с настоящим пророком…

А зимой дядя Орозкул и тетка Бекей уезжают в город, к доктору. Говорят, что доктор может помочь, лекарства такие дать, чтобы ребенок родился. Но бабка всегда говорит, что лучше всего съездить на святое место. Это где-то там, за горами, где хлопок растет на полях. Так вот есть там на ровном месте, на таком ровном, где,

казалось бы, и горы не должно быть, есть там такая гора святая — Сулейманова гора. И если зарезать черную овну у подножия ее и помолиться богу, идти в гору и на каждом шагу кланяться и молиться богу да попросить его хорошенько, он может сжалиться и дать ребенка. Тетка Бекей очень хочет съездить туда, на Сулейманову гору. А дядя Орозкул не очень. Далеко. «Денег, — говорит, — много надо. Туда ведь только самолетом через горы можно попасть. А до самолета сколько ехать, и тоже деньги…»

Когда они уезжают в город, мы остаемся на кордоне совсем одни. Мы и соседи наши — дядя Сейдахмат, его жена Гульджамал и их маленькая девочка. Вот и все мы.

Вечером, когда с делами покончено, дед рассказывает мне сказки. Я знаю, за домом темная-темная, морозная-морозная ночь. Ветер ходит злющий. Самые великие горы и те в такие ночи робеют, жмутся кучей поближе к нашему дому, к свету в окошках. И от этого мне страшно и радостно. Был бы я великаном, надел бы великанью шубу и вышел бы из дому. Я бы им громко сказал, горам: «Не робейте, горы! Я здесь. Пусть ветер, пусть темно, пусть метель, я ничего не боюсь, и вы не бойтесь. Стойте на местах, не жмитесь в

кучу». Потом я пошел бы по сугробам, перешагнул бы через реки — ив лес. Деревьям ведь очень страшно ночью в лесу. Они одни, и никто им слова не скажет. Стынут голые деревья на стуже, некуда им приткнуться. А я бы ходил в лесу и каждое дерево похлопал бы по стволу, чтобы ему не так страшно было. Наверно, те деревья, что весной не зеленеют, — это те, которые застыли от страха. Мы потом рубим этот сушняк на дрова.

Обо всем этом я думаю, когда дед рассказывает мне сказки. Он долго рассказывает. Разные есть — смешные есть, особенно про мальчика с пальчик по имени Чыпалак, которого проглотил волк-жадюга на свою беду. Нет, сначала его съел верблюд. Уснул Чыпалак под листом, а верблюд бродил вокруг, хап — и съел его вместе с листом! Потому и говорят: верблюд не знает, что он глотает. Стал Чыпалак кричать, на помощь звать. Пришлось старикам зарезать верблюда, чтобы выручить своего Чыпалака. А с волком приключилось еще того чище. Тоже проглотил он Чыпалака по глупости своей. А потом плакал горькими слезами. Наткнулся волк на Чыпалака. «Что за козявка под ногами путается? Слизну я тебя одним мигом». А Чыпалак говорит: «Не трогай меня, волк, а то сделаю тебя собакой». — «Ха-ха,

— хохочет волк, — где это видано, чтобы волк становился собакой! За дерзость твою я тебя съем». И проглотил его. Проглотил и позабыл. Но с этого дня лишился он жизни волчьей. Только волк начинает подкрадываться к овцам, а Чыпалак кричит у него в животе: «Эй, пастухи-и, не спите! Это я, серый волк, крадусь, чтоб овцу уволочь!» Волк не знает, как быть. Кусает себя за бока, катается по земле. А Чыпалак не унимается: «Эй, пастухи, бегите сюда, бейте меня, лупите!» Пастухи с дубьем на волка, волк — от них. Бегут пастухи, диву даются. С ума спятил волчище, сам бежит и сам кричит: «Догоняйте!» А волк-волчище тем временем ноги уносит. Но от этого ему не легче. Куда ни сунется, везде его подводит Чыпалак. Везде его гонят, везде над ним смеются. Отощал волк от голода, кожа да кости остались. Зубами щелкает, скулит: «Что же это за наказание мне такое? Почему я сам кличу на себя беду? Одурел на старости лет, ум отшибло». А Чыпалак шепчет ему на ухо: «Беги к Ташмату, у него овцы жирные! Беги к Баймату, у него собаки глухие. Беги к Эрмату, у него пастухи спят». А волк сидит и хнычет: «Никуда я не пойду, лучше пойду к кому-нибудь в собаки наниматься…»

Правда ведь, папа, смешная сказка? Есть у деда

и другие сказки, грустные, страшные, печальные. Но самая любимая моя сказка про Рогатую мать-олениху. Дед говорит, что каждый, кто живет на Иссык-Куле, должен знать эту сказку. А не знать — грех. Может быть, ты ее знаешь, папа? Дед говорит, что все это правда. Что так было когда-то. Что все мы — дети Рогатой матери-оленихи. И я, и ты, и все другие…

Вот так мы живем зимой. Долго тянется зима. Если бы не дедовы сказки, очень мне скучно было бы зимой.

А весной у нас хорошо. Когда совсем потеплеет, снова приходят в горы чабаны. И тогда мы в горах не одни. Только за рекой, дальше от нас никого нет. Там только лес и все, что в лесу. Для того мы и живем на кордоне, чтобы никто туда ногой не ступил, чтобы никто не тронул ни одной ветки. К нам даже приезжали ученые люди.

Две женщины, и обе в штанах, старичок и еще один молодой парень. Парень этот у них учится. Целый месяц жили. Травы собирали, листья и ветки. Они сказали, что таких лесов, как у нас на Сан-Таше, осталось на земле очень мало. Можно сказать, почти нет. И поэтому надо беречь каждое дерево в лесу.

А я думал, что дед наш просто так жалеет каж-

дое дерево. Он очень не любит, когда дядя Орозкул дарит на бревна сосны…

III

Белый пароход удалялся. Уже не различить было в бинокль его труб. Скоро он скроется из виду. Мальчику теперь пора было придумать конец своего плаванья на отцовском пароходе. Все получилось хорошо, а вот конец не удавался. Он мог легко представить себе, как он превращается в рыбу, как плывет по реке к озеру, как встречается ему белый пароход, как он встречается с отцом. И все, что рассказывает он отцу. Но дальше дело не клеилось. Потому что вот, к примеру, уже виден берег. Пароход направляется к пристани. Матросы готовятся сходить на берег. Они пойдут по домам. Отцу тоже надо уходить домой. Жена и двое ребятишек ждут его на пристани. Как тут быть? Идти с отцом? Возьмет ли он его с собой? А если возьмет, жена его спросит: «Кто это такой, откуда он, зачем он?» Нет, лучше не идти…

А белый пароход уходил все дальше, превращаясь в едва видимую точку. Солнце уже ложилось на воду. В бинокль было видно, как ослепительно сияла огненно-лиловая поверхность озера.

Пароход ушел, исчез. Вот и кончилась сказка о

белом пароходе. Надо домой.

Мальчик поднял портфель с земли, зажал бинокль под мышку. С горы спускался быстро, змейкой бежал со склона. И чем ближе подходил к дому, тем тревожней становилось на душе. Предстояло отвечать за изжеванное теленком платье. Уже ни о чем, кроме наказания, не думалось. Чтобы не совсем пасть духом, мальчик сказал портфелю: «Ты не бойся. Ну, поругают нас. Ведь я же не нарочно. Я просто не знал, что теленок убежал. Ну, дадут мне подзатыльник. Стерплю. А тебя если швырнут на пол, ты не пугайся. Ведь ты не разобьешься, ты портфель. Вот если бинокль попадет в руки бабки, ему не поздоровится. Мы сначала спрячем бинокль в сарае, а потом пойдем домой...»

Так он и сделал. Боязно было перешагнуть порог.

Но в доме стояла настораживающая тишина. На дворе было так тихо и безлюдно, точно люди покинули это место. Оказывается, тетку Бекей опять бил муж. И опять деду Момуну пришлось унимать одуревшего зятя, опять пришлось старику умолять, упрашивать, виснуть на кулачищах Орозкула и видеть весь этот позор — избитую, растрепанную, вопящую дочь. И слышать, как при

нем, при отце родном, последними словами бранят его дочь. Как обзывают ее сукой бесплодной, трижды проклятой яловой ослицей и разными другими словами. И слышать, как диким, обезумевшим голосом кляла дочь судьбу свою: «Разве я виновата, что бог лишил меня зачатия! Сколько баб на свете рожают, как овцы, а меня прокляло небо. За что? За что мне такая жизнь? Лучше убей меня, изверг! На, бей, бей!..»

Старик Момун скорбно сидел в углу, все еще тяжело дыша, смежив веки, и руки его, лежащие на коленях, дрожали. Он был очень бледен.

Момун глянул на внука, ничего не сказал, снова устало прикрыл глаза. Бабки не было дома. Она ушла мирить тетку Бекей с мужем, наводить у них порядок, подбирать разбитую посуду. Такая она вот, бабка: когда Орозкул бьет жену, бабка не вмешивается и деда удерживает. А после драки идет уговаривать, успокаивать. И за то спасибо.

Больше всего мальчику жалко было старика. Всякий раз в такие дни старик чуть не умирал. Как оглушенный, сидел он в углу, никому не показываясь на глаза. Никому, ни единой душе не высказывал он то, о чем думал. А думал Момун в такие минуты, что стар уже он, что был у него один сын, да и тот погиб на войне. Уже никто и

не знает о нем, никто и не помнит. Был бы сын, может, и не так сложилась бы судьба. Тосковал Момун и о жене своей умершей, с которой прожил весь век. Но самой большой бедой было то, что дочерям не выпало счастья. Младшая, бросив ему внука, ушла в город и мыкается теперь там с большой семьей в одной комнате. Вторая мучается здесь с Орозкулом. И хотя он, старик, при ней, и хотя он все перетерпит ради дочери, счастья материнского ей все нет да нет… И уже много лет, как она живет с Орозкулом. И уже опостылела ей жизнь с ним, а куда денешься?.. И что будет потом — не ровен час, помрет сам, стар ведь уже, — както тогда придется ей, разнесчастной дочери?

Мальчик наскоро похлебал из чашки кислого молока, съел кусок лепешки и притих подле окна. Зажигать лампу не стал, не хотел тревожить деда, пусть себе сидит и думает.

Мальчик тоже думал о своем. Не понимал он, зачем тетка Бекей ублажает мужа водкой. Он ее кулаком, а она потом еще пол-литра достает…

Эх, тетка Бекей, тетка Бекей! Сколько раз избивал ее муж до полусмерти, а она все прощает ему. И дед Момун тоже прощает ему всегда. А зачем прощать? Не надо прощать таким людям. Он негодный, скверный человек. Не нужен он здесь.

И без него обойдемся.

Ожесточенное детское воображение живо рисовало мальчику картину справедливой кары. Все они набрасывались на Орозкула и тащили его, толстого, огромного, грязного, к реке. И потом, раскачав, бросали в самые буруны. А он просил прощенья у тетки Бекей и деда Момуна. Ведь он не мог стать рыбой…

Мальчику становилось легче. Ему даже было смешно, когда он в своих мечтах видел, как барахтается Орозкул в реке и как рядом плывет его вельветовая шляпа…

Но взрослые, к великому огорчению, не поступали так, как считал справедливым мальчик. Они делали все наоборот. Приедет Орозкул домой уже подвыпивший. Его встречают как ни в чем не бывало. Дед коня примет, жена бежит самовар ставить. Все вроде только его и ждали. А он начинает куражиться. Сначала грустит, плачет. Как же так, мол, каждый человек, даже самый никудышный человечишка, такой, что и руку ему не обязательно подавать, имеет детей, сколько его душа пожелает. Пять и даже десять. А чем он, Орозкул, хуже других? Чем он не удался? Или по должности не вышел? Так, слава богу, старший объездчик заповедного леса! Или он

бродяга какой-нибудь? Так ведь у цыгана полно их, цыганят, хоть отбавляй. Или он безвестный какой, или уважения нет к нему? Все есть. Всем взял. И конь под седлом, и камча в руках, и встречают с почетом. Так почему же сверстники его детям своим уже свадьбы справляют, а он? Кто он без сына, без семени?

Тетка Бекей тоже плачет, суетится, хочет как-то угодить мужу. Достает припрятанную поллитровку. И сама выпивает с горя. Дальше — больше, и потом вдруг Орозкул звереет, и тогда всю свою злобу он вымещает на ней же, на жене своей. А она все прощает ему. И дед тоже прощает. Никто не вяжет Орозкула. Протрезвеет он, а утром жена, хотя и в синяках, самовар уже поставила. Дед коня уже овсом накормил, оседлал. Напьется Орозкул чаю, сядет на коня — и опять он начальник, хозяин всех лесов на Сан-Таше. А никто не догадывается, что такого, как Орозкул, давно уже пора бросить в реку…

Было уже темно. Ночь стояла на дворе.

Так заканчивался тот день, когда куплен был мальчику первый школьный портфель.

Укладываясь спать, он не мог придумать места для портфеля. Наконец положил его рядом с собой в изголовье. Мальчик не знал еще, узнает потом,

что такие в точности портфели будут почти у половины класса. Но и это все равно не смутит его, его портфель останется самым необыкновенным, совсем особенным портфелем. Он не знал также, что его ждут новые события в его маленькой жизни, что наступит день, когда он останется один на всем белом свете и с ним будет только портфель. И причиной всему явится его любимая сказка о Рогатой матери-оленихе…

И в этот вечер ему очень хотелось еще раз послушать эту сказку. Старый Момун сам любил эту историю и рассказывал ее так, будто сам все видел, вздыхая, плача, умолкая и думая о своем.

Однако мальчик не посмел тревожить деда. Он понимал, что деду не до сказки. «Мы попросим его в другой раз, — сказал мальчик портфелю. — А сейчас я сам расскажу тебе о Рогатой матери-оленихе, слово в слово, как дед. И рассказывать буду так тихо, что никто не услышит, а ты слушай. Я люблю рассказывать и видеть все, как в кино. Дед говорит, что все это правда. Так было…»

IV

Случилось это давно. В давние-предавние времена, когда лесов на земле было больше, чем травы, а воды в наших краях было больше, чем суши, жило одно киргизское племя на берегу большой и холодной реки. Энесай называлась та река. Протекает она далеко отсюда, в Сибири. На коне туда три года и три месяца скакать. Теперь эта река зовется Енисей, а в ту пору она называлась Энесай. Потому и песня была такая:

Есть ли река шире тебя, Энесай,
Есть ли земля роднее тебя, Энесай?
Есть ли горе глубже тебя, Энесай,
Есть ли воля вольнее тебя, Энесай?
Нету реки шире тебя, Энесай,
Нету земли роднее тебя, Энесай,
Нету горя глубже тебя, Энесай,
Нету воли вольнее тебя, Энесай…
Вот такая она была, река Энесай.

Разные народы стояли тогда на Энесае. Трудно приходилось им, потому что жили они в постоян-

ной вражде. Много врагов окружало киргизское племя. То одни нападали, то другие, то киргизы сами ходили в набег на других, угоняли скот, жгли жилища, убивали людей. Убивали всех, кого удавалось убить, — такие были времена. Человек не жалел человека. Человек истреблял человека. Дошло до того, что некому стало хлеб сеять, скот умножать, на охоту ходить. Легче стало жить грабежом: пришел, убил, забрал. А за убийство надо отвечать еще большей кровью и за месть — еще большей местью. И чем дальше, тем больше лилось крови. Помутился разум у людей. Некому было примирить врагов. Самым умным и лучшим считался тот, кто умел застигнуть врага врасплох, перебить чужое племя до последней души, захватить стада и богатства.

Появилась в тайге странная птица. Пела, плакала по ночам до рассвета человечьим жалобным голосом, приговаривала, перелетая с ветки на ветку: «Быть великой беде! Быть великой беде!» Так оно и случилось, настал тот страшный день.

В тот день киргизское племя на Энесае хоронило своего старого вождя. Много лет предводительствовал батыр Кульче, во многие походы ходил, во многих сечах рубился. В боях уцелел, но настал час его смертный. В великой печали

пребывали соплеменники два дня, а на третий собрались предать земле останки батыра. По давнему обычаю тело вождя полагалось нести в последний путь берегом Энесая по обрывам и кручам, чтобы о высоты простилась душа умершего с материнской рекой Энесай, ведь «эне» — это мать, а «сай» — это русло, река. Чтобы душа его пропела в последний раз песню об Энесае.

Есть ли река шире тебя, Энесай,
Есть ли земля роднее тебя, Энесай?
Есть ли горе глубже тебя, Энесай,
Есть ли воля вольнее тебя, Энесай?
Нету реки шире тебя, Энесай,
Нету земли роднее тебя, Энесай,
Нету горя глубже тебя, Энесай,
Нету воли вольнее тебя, Энесай…

На погребальной сопке у открытой могилы полагалось батыра поднять над головами и показать ему четыре стороны света: «Вот твоя река. Вот твое небо. Вот твоя земля. Вот мы, рожденные от одного с тобой корня. Мы все пришли проводить тебя. Спи спокойно». В память далеким потомкам на могиле батыра ставилась каменная глыба.

В дни похорон юрты всего племени расставляли цепью по берегу, чтобы каждая семья могла проститься у своего порога с батыром, когда будут проносить его тело на погребение, склонить к земле белый флаг скорби, голосить и плакать при этом и затем идти дальше вместе со всеми к следующей юрте, где опять будут причитать и плакать и склонять белый флаг скорби, и так до конца пути, до самой погребальной сопки.

Утром того дня солнце уже выходило на дневной путь, когда закончены были все приготовления. Вынесены бунчуки с конскими хвостами на древках, вынесены бранные доспехи батыра — щит и копье. Конь его был покрыт погребальной попоной. Трубачи приготовились играть в боевые трубы — карнаи, барабанщики ударить в барабаны — добулбасы — так, чтобы тайга закачалась, чтобы птицы тучей взлетели к небу и закружились с гамом и стоном, чтобы зверь бежал по чащам с диким храпом, чтобы трава прижалась к земле, чтобы эхо зарокотало в горах, чтобы горы вздрогнули. Плакальщицы распустили волосы, чтобы воспеть в слезах батыра Кульче. Джигиты опустились на одно колено, чтобы на крепкие плечи поднять его бренное тело. Все были наготове, ожидая выноса батыра. А на опушке

леса стояли на привязи девять жертвенных кобылиц, девять жертвенных быков, девять девяток жертвенных овец на поминальную тризну.

И тут случилось непредвиденное. Как бы ни враждовали энесайцы между собой, но в дни похорон вождей не принято было идти войной на соседей. А теперь полчища врагов, незаметно окруживших на рассвете погруженное в печаль становище киргизов, выскочили из укрытий сразу со всех сторон, так что никто не успел сесть в седло, никто не успел взяться за оружие. И началось невиданное побоище. Убивали всех подряд. Так было задумано врагами, чтобы одним ударом покончить с дерзким племенем киргизов. Убивали поголовно всех, чтобы некому было помнить об этом злодеянии, некому было мстить, чтобы время занесло сыпучим песком следы прошлого. Было — не было…

Человека долго рожать и растить, а убить — скорее скорого. Многие уже лежали порубленные, утопая в лужах крови, многие кинулись в реку, спасаясь от мечей и копий, и потонули в волнах Энесая. А вдоль берега, вдоль круч и обрывов пылали на целые версты киргизские юрты, объятые пламенем. Никто не успел убежать, никого не осталось в живых. Все было порушено и сожжено.

Тела поверженных сбросили с круч в Энесай. Враги ликовали: «Теперь эти земли наши! Теперь эти леса наши! Теперь эти стада наши!»

С богатой добычей уходили враги и не заметили, как вернулись из леса двое детей — мальчик и девочка. Непослушные и озорные, они еще утром тайком от родителей побежали в ближайший лес драть лыки на лукошки. Заигрались они, не заметили, как зашли глубоко в чащу. А когда услышали шум и крики побоища и кинулись назад, то не застали в живых ни отцов, ни матерей своих, ни братьев, ни сестер. Остались дети без роду, без племени. Побежали они с плачем от пепелища к пепелищу, и нигде ни единой души. Осиротели в час. В целом свете остались одни. А вдали клубилась туча пыли, враги угоняли в свои владения табуны и стада, захваченные в кровавом набеге.

Увидели дети пыль копытную и пустились вдогонку. Вслед за лютыми врагами бежали дети с плачем и зовом. Только дети могли так поступить. Вместо того чтобы скрыться от убийц, они пустились их догонять. Лишь бы не оставаться одним, лишь бы уйти прочь от погромленного, проклятого места. Взявшись за руки, мальчик и девочка бежали за угоном, просили подождать,

просили взять с собой. Но где было услышать их слабые голоса в гуле, ржанье и топоте, в жарком беге угона!

Долго в отчаянии бежали мальчик и девочка. Но так и не догнали. А потом упали на землю. Боялись оглянуться вокруг, боялись шевельнуться. Жутко им было. Прижались друг к дружке и не заметили, как уснули.

Недаром говорят — у сироты семь судеб. Ночь прошла благополучно. Зверь их не тронул, лесные чудовища не уволокли. А когда проснулись, было утро. Солнце светило. Птицы пели. Встали дети и снова побрели по следу угона. Собирали по пути ягоды и коренья. Шли они и шли, а на третий день остановились на горе. Смотрят, внизу на широком зеленом лугу великое пиршество идет. Сколько юрт поставлено — не счесть, сколько костров дымят — не счесть, сколько народу вокруг костров — не счесть. Девушки на качелях качаются, песни поют. Силачи на потеху народу, как беркуты, кружат, кидают друг друга наземь. То враги праздновали свою победу.

Стояли на горе мальчик и девочка, не решались подойти. Но очень уж хотелось очутиться возле костров, где так вкусно пахло жареным мясом, хлебом, диким луком.

Не выдержали дети, стали спускаться с горы. Удивились хозяева пришельцам, окружили их кучей.

— Кто вы? Откуда?

— Мы голодные, — отвечали мальчик и девочка, — дайте нам поесть.

Те догадались по их речи, кто они такие. Зашумели, загалдели. Стали спорить; убить их, недобитое вражеское семя, тотчас же или к хану вести? Пока спорили, какая-то сердобольная женщина успела сунуть детям по куску вареной конины. Их тащили к самому хану, а они не могли оторваться от еды. Повели их в высокую красную юрту, у которой стояла стража с серебряными топорами. А по становищу пронеслась тревожная весть, что неизвестно откуда появились дети киргизского племени. Что бы это значило? Все побросали свои игры и пиршества, сбежались огромной толпой к ханской юрте. А хан в тот час восседал на белой как снег кошме со своими знатными воинами. Пил кумыс, подслащенный медом, песни слушал хвалебные. Когда узнал хан, зачем к нему явились, в страшную ярость пришел: «Как вы смели тревожить меня? Разве не перебили мы племя киргизское начисто? Разве не сделал я вас владыками Энесая на веч-

ные времена? Чего же вы сбежались, трусливые души? Посмотрите, кто перед вами! Эй, Рябая Хромая Старуха! — крикнул хан. И сказал ей, когда она выступила из толпы. — Уведи-ка их в тайгу и сделай так, чтобы на этом кончилось племя киргизское, чтобы в помине его не было, чтобы имя его забылось вовеки. Ступай, Рябая Хромая Старуха, сделай так, как я велю…»

Молча повиновалась Рябая Хромая Старуха, взяла мальчика и девочку за руки и повела их прочь. Долго шли они лесом, а потом вышли к берегу Энесая на высокую кручу. Здесь Рябая Хромая Старуха остановила детишек, поставила рядышком на краю обрыва. И перед тем, как столкнуть их вниз, проговорила:

— О великая река Энесай! Если гору сбросить в твою глубину, канет гора, как камень. Если бросить сосну столетнюю, унесет ее, как щепку. Прими же в воды свои две маленькие песчинки — двух детей человеческих. Нет им места на земле. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Если бы звезды стали людьми, им не хватило бы неба. Если бы рыбы стали людьми, им не хватило бы рек и морей. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Возьми их, унеси их. Пусть покинут они наш постылый мир в младенчестве, с чистыми душами, с сове-

стью детской, не запятнанной злыми умыслами и злыми делами, чтобы не знать им людского страданья и самим не причинять муки другим. Возьми их, возьми их, великий Энесай…

Плачут, рыдают мальчик и девочка. До речей ли им старухиных, когда вниз с обрыва страшно взглянуть. В глубине волны ярые перекатываются.

— Обнимитесь, детки, напоследок, попрощайтесь, — сказала Рябая Хромая Старуха. А сама рукава засучила, чтобы сподручней было бросать их с обрыва. И говорит: — Ну, простите меня, детки. Значит, судьба такая. Хотя и не по своей воле совершу я сейчас это дело, — но для вашего блага…

Только сказала она эти слова, как рядом раздался голос:

— Обожди, большая, мудрая женщина, не губи безвинных детей.

Обернулась Рябая Хромая Старуха, глянула — диву далась, стоит перед ней олениха, матка маралья. Да такие глаза у нее большущие, смотрят с укором и грустью. А сама олениха белая, как молозиво первоматки, брюхо бурой шерсткой подбито, как у малого верблюжонка. Рога — красота одна — развесистые, будто сучья осенних

деревьев. А вымя чистое да гладкое, как груди женщины-кормилицы.

— Кто ты? Почему ты говоришь человечьим языком? — спросила Рябая Хромая Старуха.

— Я мать-олениха, — отвечала ей та. — А заговорила так потому, что иначе ты не поймешь меня, не послушаешься.

— Чего ты хочешь, мать-олениха?

— Отпусти детей, большая, мудрая женщина. Прошу тебя, отдай их мне.

— Зачем они тебе?

— Люди убили двойню мою, двух оленят. Я ищу себе детей.

— Ты хочешь их выкормить?

— Да, большая, мудрая женщина.

— А ты хорошенько подумала, мать-олениха? — засмеялась Рябая Хромая Старуха. — Ведь они дети человеческие. Они вырастут и будут убивать твоих оленят.

— Когда они вырастут, они не станут убивать моих оленят, — отвечала ей матка маралья. — Я им буду матерью, а они — моими детьми. Разве станут они убивать своих братьев и сестер?

— Ох, не скажи, мать-олениха, не знаешь ты людей! — качала головой Рябая Хромая Старуха. — Не то что лесных зверей, они и друг друга

не жалеют. Отдала бы я тебе сироток, чтобы ты сама узнала, что правдивы мои слова, но ведь и этих детей люди убьют у тебя. Зачем же тебе столько горя?

— Я уведу детей в далекий край, где их никто не разыщет. Пощади детишек, большая, мудрая женщина, отпусти их. Буду я им верной матерью… Вымя мое переполнилось. Плачет мое молоко по детям. Просит мое молоко детей.

— Ну что ж, коли так, — промолвила Рябая Хромая Старуха, подумав, — бери да уводи их быстрей. Уводи сирот в свой далекий край. Но если погибнут они в пути дальнем, если убьют их разбойники встречные, если черной неблагодарностью отплатят тебе твои дети людские, — пеняй на себя.

Благодарила мать-олениха Рябую Хромую Старуху. А мальчику и девочке сказала:

— Теперь я ваша мать, вы мои дети. Поведу я вас в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее море — Иссык-Куль.

Обрадовались мальчик и девочка, резво побежали за Рогатой матерью-оленихой. Но потом они устали, ослабли, а путь далекий — из одного края света в другой. Не ушли бы они далеко, если бы Рогатая мать-олениха не кормила их молоком

своим, не согревала телом своим по ночам. Долго шли они. Все дальше оставалась позади старая родина Энесай, но и до новой родины, до Иссык-Куля, еще было очень далеко. Лето и зиму, весну, лето и осень, еще лето и зиму, еще весну, еще лето и осень пробирались они сквозь дремучие леса, по знойным степям, по зыбучим пескам, через высокие горы и бурные реки. Гнались за ними стаи волков, но Рогатая мать-олениха, посадив детей на себя, уносила их от лютых зверей. Гнались за ними на конях охотники со стрелами, крича: «Олениха похитила детей человеческих! Держи! Лови!» — и стрелы пускали вдогонку; и от них, от незваных спасателей, уносила детей Рогатая мать-олениха. Бежала она быстрее стрелы, только шептала: «Крепче держитесь, дети мои, — погоня!»

Привела наконец Рогатая мать-олениха детей своих на Иссык-Куль. Стояли они на горе — дивовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом, насколько глаз хватает море плещется. Ходят белые волны по синей воде, ветры гонят их издали, угоняют вдаль. Где начало Иссык-Куля, где конец — не узнать. С одного края солнце восходит, а на другом еще ночь. Сколько гор стоит вокруг Иссык-Куля — не счесть, а за

теми горами сколько еще таких же снежных гор высится — тоже не угадать.

— Это и есть ваша новая родина, — сказала Рогатая мать-олениха. — Будете жить здесь, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь с миром тысячи лет. Да продлится ваш род и умножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли, пусть им сладко будет говорить и петь на своем языке. Живите, как должны жить люди, а я буду с вами и с детьми ваших детей во все времена…

Вот так мальчик и девочка, последние из киргизского племени, обрели себе новую родину на благословенном и вечном Иссык-Куле.

Быстро время прошло. Мальчик стал крепким мужчиной, а девочка — зрелой женщиной. И тогда поженились они, стали мужем и женой. А Рогатая мать-олениха не покинула Иссык-Куль, жила в здешних лесах.

Однажды на рассвете разбушевался вдруг Иссык—Куль, зашумел. Роды наступили у женщины, мучилась она. А мужчина испугался. Взбежал на скалу и стал громко звать:

— Где ты, Рогатая мать-олениха? Слышишь, как шумит Иссык-Куль? Твоя дочь рожает. Приходи скорей, Рогатая мать-олениха, помоги нам…

И послышался тогда издали звон переливчатый, словно караванный колоколен позванивает. Все ближе и ближе доносился тот звон. Прибежала Рогатая мать-олениха. На рогах своих, подцепив за дужку, принесла она детскую колыбель — бешик. Бешик был из белой березы, а на дужке бешика серебряный колокольчик гремел. И поныне гремит тот колоколец на бешиках иссык-кульских. Качает мать колыбель, а колокольчик серебряный позванивает, будто бежит издали Рогатая мать-олениха, спешит, колыбель березовую несет на рогах…

Как только явилась на зов Рогатая мать-олениха, так и разродилась женщина.

— Этот бешик для вашего первенца, — сказала Рогатая мать-олениха. — И будет у вас много детей. Семеро сыновей, семеро дочерей!

Обрадовались мать и отец. Назвали первенца своего в честь Рогатой матери-оленихи — Бугубаем. Вырос Бугубай, взял красавицу из племени кипчаков, и стал умножаться род Бугу — род Рогатой матери-оленихи. Стал большим и сильным род бугинцев на Иссык-Куле. Чтили Рогатую мать-олениху бугинцы как святыню. На бугинских юртах над входом вышивался знак — рога марала, чтобы издали было видно, что юрта при-

надлежит роду Бугу. Когда отражали бугинцы набеги врагов, когда состязались на скачках, раздавался клич: «Бугу!» И всегда бугинцы выходили победителями. А в лесах иссык-кульских бродили тогда белые рогатые маралы, красоте которых завидовали звезды в небе. То были дети Рогатой матери-оленихи. Никто их не трогал, никто в обиду не давал. При виде марала бугинец сходил с седла, уступая дорогу. Красоту любимой девушки сравнивали с красотой белого марала…

Так было, пока не умер один очень богатый, очень знатный бугинец — у него овец было тысячи тысяч, лошадей — тысячи тысяч, а все люди вокруг в пастухах у него были. Великие поминки устроили его сыновья. Созвали они на поминки самых знаменитых людей со всех концов земли. Для гостей поставили тысячу сто юрт на берегу Иссык-Куля. Не счесть, сколько скота было зарезано, сколько кумыса выпито, сколько яств кашгарских было подано. Сыновья богача ходили важные: пусть знают люди, какие богатые и щедрые наследники остались после умершего, как они его уважают, как почитают его память… («Э-э, сын мой, худо, когда люди не умом блещут, а богатством!») А певцы, разъезжая на аргамаках, подаренных им сыновьями покойника, красуясь

в подаренных собольих шапках и шелковых халатах, наперебой восхваляли и покойного и наследников:

— Где еще увидишь под солнцем такую счастливую жизнь, такие пышные поминки? — поет один.

— Со дня сотворения мира такого еще не бывало! — поет второй.

— Нигде, только у нас так почитают родителей, воздают памяти родительской честь и славу, чтут их святые имена, — поет третий.

— Эй, певцы-краснобаи, что вы тут галдите! Разве есть на свете слова, достойные этих щедрот, разве есть слова, достойные славы покойного! — поет четвертый.

И так состязались они день и ночь. («Э-э, сын мой, худо, когда певцы состязаются в славословии, из певцов они превращаются во врагов песни!») Много дней, как праздник, справлялись те знаменитые поминки. Очень хотелось кичливым сыновьям богача затмить других, превзойти всех на свете, чтобы слава о них пошла по всей земле. И надумали они установить на гробнице отца рога марала, дабы все знали, что это усыпальница их славного предка из рода Рогатой матери-оленихи. («Э-э, сын мой, еще в древности

люди говорили, что богатство рождает гордыню, гордыня — безрассудство».) Захотелось сыновьям богатея оказать памяти отца эту неслыханную честь, и ничто их не удержало. Сказано — сделано! Послали охотников, убили охотники марала, срубили его рога. А рога саженьи, как крылья орла на взлете. Понравились сыновьям маральи рога, по восемнадцать отростков на каждом — значит, жил восемнадцать лет. Хорош! Велели они мастерам установить рога на гробнице.

Старики возмутились:

— По какому праву убили марала? Кто посмел поднять руку на потомство Рогатой матери-оленихи?

А им отвечают наследники богача:

— Марал убит на нашей земле. И все, что ходит, ползает, летает в наших владениях, от мухи до верблюда, — ото наше. Мы сами знаем, как нам поступать с тем, что наше. Убирайтесь.

Слуги отхлестали стариков плетками, посадили на коней задом наперед и погнали их с позором прочь.

С этого и пошло… Великое несчастье свалилось на потомство Рогатой матери-оленихи. Чуть ли не каждый стал охотиться в лесах на белых маралов. Каждый бугинец долгом считал установить

на гробницах предков маральи рога. Дело это теперь почиталось за благо, за особое уважение к памяти умерших. А кто не умел добыть рога, того считали теперь недостойным человеком. Стали торговать маральими рогами, стали запасать их впрок. Появились такие люди из рода Рогатой матери-оленихи, что сделали своим ремеслом добычу маральих рогов и продажу их за деньги. («Э-э, сын мой, а там, где деньги, слову доброму не место, красоте не место».) Гиблое время наступило для маралов в иссык-кульских лесах. Не было им пощады. Бежали маралы в недоступные скалы, но и там доставали их. Напускали на них своры гончих собак, чтобы выгоняли маралов на стрелков в засаде, били без промаха. Косяками губили маралов, выбивали их целыми стадами. Об заклад бились, кто достанет такие рога, на каких отростков больше.

И не стало маралов. Опустели горы. Не услышать марала ни в полночь, ни на рассвете. Не увидеть ни в лесу, ни на поляне, как он пасется, как скачет, запрокинув на спину рога, как перемахивает через пропасть, точно птица в полете. Народились люди, которые за всю свою жизнь ни разу не видели марала. Только слышали о нем сказки да видели рога на гробницах.

А что сталось с Рогатой матерью-оленихой?

Обиделась она, крепко обиделась на людей. Говорят, когда маралам совсем не стало житья от пуль и гончих собак, когда осталось маралов столько, сколько на пальцах нетрудно перечесть, поднялась Рогатая мать-олениха на самую высокую горную вершину, попрощалась с Иссык-Кулем и увела последних детей своих за великий перевал, в другой край, в другие горы.

Вот какие дела бывают на земле. Вот и сказка вся. Хочешь верь, хочешь нет.

А когда Рогатая мать-олениха уходила, сказала она, что никогда не вернется…

V

Снова стояла осень в горах. Снова после шумного лета все настраивалось на осеннюю тишину. Улеглась окрест пыль скотогона, погасли костры. Стада ушли на зиму. Люди ушли. Опустели горы.

Уже в одиночку летали орлы, скупо роняя клекот. Глуше шумела вода в реке; привыкла река за лето к руслу, притерлась, обмелела. Трава перестала расти, при-увядала на корню. Листья устали держаться на ветках и кое-где начинали опадать.

А на самые высокие вершины по ночам уже ложится молодой серебристый снег. К утру темные гряды хребтов становились седыми, как загривки черно-бурых лисиц.

Настывал, нахолаживался ветер в ущельях. Но пока еще дни стояли светлые, сухие.

Леса за рекой, напротив кордона, быстро входили в осень. От самой реки и вверх, до границы Черного Бора, бездымным пожаром шел по крутому мелколесью осенний пал. Самыми яркими — рыже-багряными — и самыми цепкими на подъем были осиновые и березовые чащи: они

добирались до подснежных высот большого леса, до царства сумрачных сосен и елей.

В бору было чисто, как всегда, и строго, как в храме. Только коричневые твердые стволы, только смолистый сухой запах, только бурые иглы, сплошь усыпавшие подножие леса. Только ветер, неслышно текущий между верхушками старых сосен.

Но сегодня с утра над горами галдели не смолкая растревоженные галки. Большая, яростно орущая стая непрестанно кружила над сосновым лесом. Галки всполошились сразу, заслышав стук топоров, и теперь, крича наперебой, точно их ограбили средь бела дня, преследовали двоих людей, спускавших с горы срубленную сосну.

Бревно волокли на цепях конной упряжкой. Орозкул шел впереди, держа коня под уздцы. Набычившись, цепляя плащом за кусты, он шел, тяжело дыша, как вол в борозде. За ним позади бревна поспевал дед Момун. Ему тоже было нелегко на такой высоте, задыхался старик. В руках у него была березовая вага, которой он поддевал на ходу бревно. Бревно то и дело утыкалось то в пеньки, то в камни. А на спусках так и норовило вывернуться поперек склона и покатиться вниз. Тогда не миновать беды — расшибет насмерть.

Опасней тому, кто страхует бревно вагой, — по чем черт не шутит: Орозкул уже несколько раз испуганно отпрыгивал прочь от упряжки, и всякий раз обжигало его стыдом, когда он видел, что старик, рискуя жизнью, удерживает бревно на скате и ждет, пока Орозкул вернется к лошади и возьмет ее под уздцы. Но недаром говорят: чтобы скрыть свой позор, надо опозорить другого.

— Ты что, на тот свет хочешь отправить меня? — орал Орозкул на тестя.

Вокруг никого не было, кто бы мог услышать и осудить Орозкула: где видано, чтобы со стариком так обращались? Тесть робко заметил, что ведь и он сам может попасть под бревно, — зачем же кричать на него так, как будто он нарочно все делает.

Но это еще сильней раздражало Орозкула.

— Ишь ты какой! — негодовал он. — Тебя расшибет, так ведь ты пожил уже свое. Что тебе? А я разобьюсь, кто возьмет твою неродящую дочь? Кому она нужна, такая бесплодная, как хлыст шайтана?..

— Трудный ты человек, сын мой. Нет у тебя уважения к людям, — ответил на это Момун.

Орозкул даже приостановился, смерил старика взглядом.

— Такие старики давно у очагов лежат, задницу себе греют на золе. А тебе зарплата идет, какая ни есть. А откуда она, эта зарплата? Через меня. Какого же тебе еще уважения нужно?

— Да ладно уж, к слову сказал, — смирился Момун. Так они шли. Преодолев еще один подъем, остановились на откосе передохнуть. Лошадь взмокла вся, покрылась мылом.

А галки все так же не успокаивались, все кружились. Их было тьма, и галдели они так, словно задались целью сегодня весь день только и делать, что кричать.

— Зиму раннюю чуют, — промолвил Момун, чтобы поговорить о другом и тем смягчить гнев Орозкула. — Это они к отлету сбиваются. Не любят, когда им мешают, — добавил он, точно извиняясь за неразумных птиц.

— А кто им мешает? — резко обернулся Орозкул. И побагровел вдруг. — Заговариваешься ты что-то, старик, — тихо проговорил он с угрозой в голосе.

«Ишь, — подумал он, — на что намекает! Что ж это, из-за его галок и сосну не тронь, и ветку не сломи? Как бы не так! Пока что я здесь еще хозяин». Он зыркнул глазами на орущую стаю: «Эх, пулемет бы!» — и, отвернувшись, нехорошо

выругался.

Момун промолчал. Ему не привыкать к матерщине зятя. «Опять нашло на него, — опечалился старик про себя. — Выпьет — звереет. С похмелья тоже — не скажи ничего. И почему только люди становятся такими? — сокрушался Момун. — Ты ему добро — он тебе зло. И не застыдится, и не одумается. Вроде бы так и должно быть. Всегда правым себя считает. Только бы ему было хорошо. Все вокруг должны угождать ему. А не захочешь — заставит. Хорошо еще, когда сидит такой вот в горах, в лесу, и под рукой у него народу — раз-два, и обчелся. А ну, окажись он у власти повыше? Не приведи, боже… И нет им переводу, таким. Всегда урвут свое. И никуда ты от такого не денешься. Везде он ждет тебя, сыщет тебя. И чтобы жилось ему вольготно, душу из тебя вытрясет. И прав останется. Да, нет таким переводу…»

— Ну, довольно стоять, — прервал Орозкул размышления старика. — Пошли,

— приказал он.

И они двинулись.

Сегодня с самого утра Орозкул был не в духе. Утром, когда надо было переправляться с инструментом на тот берег в лес, Момун спешил отвезти внука в школу. Совсем из ума выжил старик!

Каждое утро седлает коня, отвозит мальчишку в школу, потом снова скачет, привозит его из школы. Возится с этим брошенным пригулком. Подумаешь, в школу нельзя опаздывать! А тут такое дело, бог знает как оно получится, — так с этим можно ждать, так выходит? «Я, — говорит, — мигом обернусь, стыдно перед учительницей, если мальчишка опоздает на урок». Нашел кого стыдиться! Ну и дурак! Да кто она такая, учительница эта? Пять лет в одном пальто ходит. Только и видишь с тетрадями, с сумками. Голосует на дороге — все ей в район требуется, все ей чего-то не хватает, — то угля для школы, то стекла, то мела, а то и тряпок. Да разве порядочная учительница пойдет в такую школу? Название какое придумали — карликовая школа. Она и вправду карликовая. Какой от нее толк? Настоящие учителя в городе. Школы сплошь из стекла. Учителя в галстуках. Но то в городе… Начальство там какое ездит по улицам. А какие машины! Так и хочется остановиться и замереть, вытянуться, пока она проскользит, машина эта черная, блестящая, плавная. А они, городские люди, будто и не замечают этих машин, некогда — спешат, бегут куда-то. Вот там, в городе, жизнь так жизнь! Туда бы двинуться, там бы где пристроиться.

Там умеют уважать человека по должности. Раз положено — значит, обязан уважать. Большая должность — больше уважения. Культурные люди. И за то, что побывал в гостях или подарок какой получил, бревна таскать или что-нибудь вроде этого делать там не приходится. Не то что здесь — пол-сотню, от силы сотню, он тебе даст, лес увезет да еще жалобу накатает на тебя: взяточник Орозкул, такой-сякой… Темнота!

Да-а, в город бы… Эх, послал бы ко всем чертям и горы эти, и леса эти, и бревна эти, трижды проклятые, и жену эту пустобрюхую, и старика безмозглого с пащенком этим, с которым он возится, как с невидалью какой. Эх, взыграл бы я, как сытый конь на овсе! Заставил бы себя уважать: «Орозкул Балажанович, разрешите войти к вам в кабинет?» А там и женился бы на городской. А почему бы и нет? Скажем, на артистке какой-нибудь, красавице, что поет да пританцовывает с микрофоном в руке; говорят, для них главное, чтобы человек при должности был. Взял бы такую под ручку, а сам при галстуке. И — в кино. А она каблучками стучит и духами пахнет. Прохожие носом тянут. Смотришь, и дети народились бы. Сына на юриста выучил бы, а дочку, чтобы на рояле играла. Городские дети сразу за-

метные — умные. Дома только по-русски говорят — станут они забивать себе головы деревенскими словами. Он бы своих так и воспитал: «Папочка, мамочка, хочу то, хочу это…» Разве же своему чаду что пожалеешь? Эх, многим бы нос утер, показал бы, кто он есть! А чем он хуже других? Те, что наверху, лучше его, что ли? Такие же люди, как он. Просто им повезло. А ему нет. Увильнуло счастье. Да и сам виноват. После курсов для лесничих надо было в город, в техникум податься, а то и в институт. Поторопился — на должность потянуло. Хотя и маленькая, но должность. Вот и ходи теперь по горам, таскай бревна, как ишак. А тут еще галки эти. И чего орут, чего кружатся? Эх, пулемет бы…

Было с чего расстраиваться Орозкулу. Отгулял лето. Надвигалась осень, а вместе с летом уходила пора гостеваний у чабанов и табунщиков. Как это поется: «Отцвели цветы на джайлоо, пора собираться в низовья…»

Осень настала. Приходилось Орозкулу рассчитываться за почет, за угощения, за долги, за обещания. Да и за хвастовство: «Тебе что? Два кругляка сосновых на матицы, только-то? О чем тут говорить! Приедешь, увезешь».

Наболтал, подношенья получал, водку пил, — а

теперь, задыхаясь, обливаясь потом, проклиная все на света, пер эти кругляки по горам. Боком они выходили ему. Да и вообще вся жизнь его боком шла. И вдруг мелькнула в голове отчаянная мысль: «А плюну на все и уйду куда глаза глядят!» Но он тут же понял, что никуда не уйдет, никому нигде не нужен и нигде такой жизни, какой хочет для себя, не сыщет.

Попробуй уйти отсюда или отказаться от обещанного! Его свои же друзья-приятели выдадут. Народ пошел никудышный. В позапрошлом году своему же сородичу-бугинцу пообещал за дареного ягненка сосновое бревно, а осенью не захотелось ему лезть наверх за сосной. Это сказать легко, а ну, попробуй, доберись туда, да спили, да приволоки ее. И если к тому же сосна эта не один десяток лет прожила на свете, ну-ка, повозись с ней! Да ни за какое золото не захочешь браться за такое дело. А в те дни как раз заболел старик Момун, слег в постель. В одиночку же не справиться было, да и никто не справится один на один с бревном в горах. Свалить, может, и свалит сосну, да не стащит вниз… Знал бы наперед, что случится, сам бы с Сейдахматом полез за сосной. Но Орозкул поленился карабкаться в горы и решил отделаться от сородича первой

попавшейся лесиной. Тот ни в какую: подавай ему настоящее сосновое бревно — и все тут! «Ягненка брать умеешь, а слово сдержать нет?» Орозкул рассвирепел, выставил его со двора: не хочешь брать — убирайся. А тот парень не промах, настрочил на объездчика Сан-Ташского заповедного леса Орозкула Балажанова жалобу, и такое там расписал — и правду, и неправду, — что в пору было расстрелять Орозкула, как «вредителя социалистического леса». Долго потом таскали Орозкула по разным проверочным комиссиям из района, из лесного министерства. С трудом выпутался.» Вот тебе и родственник! А еще: «Все мы дети Рогатой матери-оленихи. Один за всех, и все за одного!» Да ерунда все это, какая там, к черту, олениха, когда за копейку готовы друг другу в горло впиться или в тюрьму засадить! Это в прежние времена люди верили в олениху. До чего же глупые и темные были тогдашние люди, смешно! А теперь все культурные, все грамотные! Кому нужны они, эти сказки для малых детей!

После того случая Орозкул дал зарок, больше никому, никаким знакомым, никаким соплеменникам, пусть хоть трижды будут они детьми Рогатой матери-оленихи, не даст ни сучка, ни хворостинки.

Но возвратилось лето. Забелели юрты на зеленых горных лугах, загомонили стада, потянулись дымки у ручьев и рек. Солнце сияло, кумысом пьянящим пахло, цветами пахло. Хорошо сидеть на свежем воздухе подле юрты, на зеленой траве, в кругу друзей-приятелей, наслаждаться кумысом, молодым мясом. А потом ахнуть стакан водки, чтобы замутилось в башке. И почувствовать, что под силу тебе дерево вырвать с комлем или голову свернуть вон той горе… Забывал Орозкул в такие дни о своем зароке. Сладко ему было слышать, как называли его большим хозяином большого леса. И опять обещал, опять принимал подношенья… И опять какая-то из реликтовых сосен в лесу не подозревала, что дни ее сочтены, вот только наступит осень.

А осень незаметно прокрадывалась в горы со сжатых полей и принималась шнырять кругом. И там, где она пробегала, рыжела трава, рыжели листья в лесу.

Ягоды зрели. Ягнята росли. Делили их на отары — ярочек отдельно, баранчиков отдельно. Женщины прятали сушеный сыр в зимние мешки. Мужчины принимались советоваться, кому первому открывать обратный путь в долины. А перед уходом те, что сговаривались летом с Орозкулом,

предупреждали его, что в такой-то день, в такой-то час прибудут на кордон с машинами, приедут за обещанным лесом.

Вот и сегодня вечером приедет машина с прицепом, чтобы увезти два сосновых бревна. Одно уже было внизу, уже переправлено через реку и доставлено к тому месту, куда подъедет машина. Второе — вот оно, волокут его вниз. Если бы мог Орозкул сейчас вернуть все, что съел и выпил под эти бревна, он тотчас бы сделал это, лишь бы избавиться от труда и мучений, которые сейчас вынужден терпеть.

Увы, нет способа изменить свою проклятую судьбу в горах: машина с прицепом прибудет сегодня вечером, чтобы ночью вывезти бревна.

Хорошо еще, если все благополучно обойдется. Дорога проходит через совхоз, прямо возле конторы, другого пути нет, а в совхоз, бывает, наведывается милиция, госинспекция, и мало ли еще кто может оказаться там из района. Попадется им лесовоз на глаза: «Откуда везете лес и куда?»

Спина у Орозкула холодела при этой мысли. И злоба вскипела в нем ко всем и ко всему — к галдящим галкам над головой, к несчастному старику Момуну, к Сейдахмату, лентяю, дога-

давшемуся три дня тому назад уехать в город продавать картошку. Ведь знал он, что предстоит стаскивать бревна с гор! Улизнул, выходит… И вернется теперь только тогда, когда кончит свои дела на базаре. Не то приказал бы ему Орозкул вдвоем со стариком бревна приволочь, не мучился бы сам.

Но Сейдахмат был далеко, галок тоже достать нечем. На худой конец можно было бы излупить жену, но до дома добираться еще долго. Оставался старый Момун. Задыхаясь и все больше свирепея от горного удушья, матерясь на каждом шагу, Орозкул шел напролом через кусты, не жалея ни лошади, ни идущего за ним старика. Пусть подохнет лошадь, пусть подохнет этот старик, пусть он сам подохнет от разрыва сердце! Раз ему нехорошо — значит, и другим не должно быть хорошо. Пусть провалится этот мир, где все устроено не так, как требуется, не так, как положено Орозкулу по его достоинствам и по должности!

Уже не владея собой, Орозкул повел коня по кустарнику прямо на крутой спуск. Пусть Расторопный Момун попляшет вокруг бревна. И пусть попробует не удержать! «Прибью старого дурака — и все тут», — решил Орозкул. В другое время он никогда не посмел бы сунуться с бревном-волоку-

шей на такой опасный откос. А тут бес попутал. И не успел Момун остановить его, успел лишь крикнуть: «Куда ты? Куда? Остановись!» — как бревно крутнулось на цепи и, сминая кусты, покатилось вниз. Бревно было сырое, тяжелое. Момун попытался было подставить вагу, чтобы не дать бревну скатиться вниз. Но удар оказался такой силы, что вагу вышибло из рук старика.

Все произошло в одно мгновение. Лошадь упала, и ее на боку потащило вниз. Падая, она сшибла Орозкула. Он катился, судорожно цепляясь за кусты. И в этот момент какие-то рогатые животные испуганно шарахнулись в густой листве. Высоко и сильно подпрыгивая, они скрылись в березовой чаще.

— Маралы! Маралы! — вне себя от испуга и радости вскричал дед Момун. И замолк, будто не веря своим глазам.

И вдруг в горах стало тихо. Галки разом улетели. Бревно задержалось на скате, подмяв под себя молодые крепкие березки. Лошадь, путаясь в сбруе, сама встала на ноги.

Орозкул, весь оборванный, отползал в сторону. Момун бросился на выручку к зятю.

— О пресвятая мать. Рогатая олениха! Это она спасла нас! Ты видел? Это дети Рогатой матери-

оленихи. Вернулась наша мать! Ты видел?

Еще не веря, что все обошлось, Орозкул встал, мрачный, пристыженный, и отряхнулся:

— Не болтай, старик. Хватит! Выводи вон коня из постромков.

Момун послушно кинулся выпутывать лошадь.

— О пречудная мать, Рогатая олениха! — продолжал он радостно бормотать.

— Вернулись маралы в наши леса. Не забыла нас Рогатая мать! Простила наш грех…

— Все бормочешь? — огрызнулся Орозкул. Он уже оправился от испуга, и прежняя злоба глодала его душу. — Сказки свои рассказываешь? Сам тронулся умом, так думаешь, и другие поверят твоим дурацким выдумкам!

— Я видел своими глазами. Это были маралы, — не сдавался дед Момун. — А разве ты не видел, сын мой? Ты же видел сам.

— Ну, видел. Вроде промелькнули штуки три…

— Верно, три. Мне тоже так показалось.

— Ну и что из того? Маралы так маралы. Тут вон человек чуть шею себе не свернул. Чего же радоваться? А если это были маралы, то пришли они, значит, из-за перевала. Там, в Казахстане, на той стороне гор, в лесах, говорят, водятся еще

маралы. Там тоже заповедник. Возможно, заповедные маралы. Пришли так пришли. Нам какое дело. Казахстан нас не касается.

— Может, приживутся у нас? — помечтал дед Момун. — Остались бы…

— Ну, хватит! — оборвал его Орозкул. — Пошли.

Им надо было еще долго спускаться с бревном, а потом переправить его через реку волоком, в упряжи. И тоже трудное это дело. А затем, если удастся благополучно перетащить бревно через реку, надо еще дотянуть его до пригорка, где будет грузиться машина.

Ох, сколько трудов!..

Орозкул чувствовал себя совсем несчастным. И все вокруг казалось ему устроенным несправедливо. Горы — они ничего не чувствуют, ничего не желают, ни на что не жалуются, стоят себе и стоят; леса входят в осень, а потом в зиму войдут и не видят в этом ничего трудного. Галки и те летают себе на свободе и орут, сколько им влезет. Маралы, если то действительно были маралы, пришли из-за перевала и будут бродить в лесу как хотят и где хотят. В городах люди беспечно шагают по асфальтированным улицам, ездят на такси, сидят в ресторанах, предаются забавам.

А он заброшен судьбою в эти горы, он несчастлив... Даже этот Расторопный Момун, тесть его никудышный, и тот счастливее, потому что он верит в сказки. Глупый человек! Глупцы всегда довольны жизнью.

А Орозкул ненавидит свою жизнь. Она не по нем. Эта жизнь для таких, как Расторопный Момун. Ему-то что надо, Момуну? Сколько живет, столько и горб гнет изо дня в день, без отдыха. И в жизни ни один человек не был у него в подчинении, а он подчинялся всем, даже старухе своей, он даже ей не прекословит. Такой горемыка и сказкой будет счастлив. Увидел маралов в лесу

— до слез дошел, точно встретил братьев родных, которых сто лет по свету искал.

Эх, что там говорить!..

Они вышли наконец на последний рубеж, откуда начинался длинный крутой спуск к реке. Остановились передохнуть.

За рекой, во дворе кордона, возле дома Орозкула что-то дымило. По дыму можно было догадаться — самовар. Значит, жена уже ждала его. Но от этого Орозкулу не стало легче. Дышал он широко ртом, воздуха не хватало. В груди болело, и в голове, как эхо, стучали удары сердца. Пот со лба разъедал глаза. А впереди еще такой долгий и

крутой спуск. И дома ждет пустобрюхая жена. Ишь, самовар поставила, угодить хочет… Он вдруг почувствовал острое желание разбежаться и пнуть ногой этот пузатый самовар, да так, чтобы полетел он ко всем чертям. А потом наброситься на жену и бить ее, бить в кровь, насмерть. Мысленно он наслаждался этим, слыша вопли жены, ее проклятия судьбе своей горемычной. «Ну и пусть, — думал он. — Пусть! Мне плохо, почему ей должно быть хорошо?»

Его мысли прервал Момун.

— Я и забыл, сын мой, — спохватился он и поспешно подошел к Орозкулу. — Мне ведь в школу надо, малыша забрать. Уроки-то кончились.

— Ну и что? — нарочито спокойно произнес Орозкул.

— Не сердись, сын мой. Оставим бревно здесь. Спустимся. Ты пообедаешь дома. А я тем временем проскочу на коне в школу. Заберу мальчишку. Вернемся и переправим бревно.

— И долго ты думал, старик, пока это придумал? — съязвил Орозкул.

— Да ведь плакать будет мальчишка.

— Ну и что? — вскипел Орозкул. Наконец-то было за что проучить старика в полной мере. Весь день Орозкул искал, к чему бы придрать-

ся, а теперь Момун сам давал ему повод. — Он будет плакать, а мы будем дело бросать? Утром морочил голову — в школу повезу. Хорошо, отвез. Теперь из школы привезу? А я что? Или мы здесь в игрушки играем?

— Не надо, сын мой, — попросил Момун. — В такой день! Я-то ладно, но мальчишка будет ждать, будет плакать в такой день…

— Что — в такой день? Какой это такой особый день?

— Маралы вернулись. Зачем же в такой день…

Орозкул опешил, даже замолчал от удивления. Он уже и забыл про этих маралов, которые вроде бы промелькнули быстрыми, скачущими тенями, когда он катился по колючим кустарникам, когда душа у него от страха ушла в пятки. Каждую секунду его могло приутюжить сорвавшимся со склона бревном. Не до маралов было и не до болтовни этого старика.

— Ты за кого меня принимаешь? — тихо и яростно сказал он, дыша в лицо старику. — Жаль, что нет у тебя бороды, а не то потаскал бы, чтобы не считал других глупее себя. Да на кой хрен мне твои маралы? Буду я еще думать о них. Ты мне зубы не заговаривай. Давай становись к бревну. И пока не перетащим через реку, и не заикайся

ни о чем. Кто там в школу ходит, кто там плачет — дела мне нет никакого. Хватит, пошли…

Момун, как всегда, повиновался. Он понимал, что не вырвется из рук Орозкула, пока бревно не будет доставлено на место, и молча отчаянно работал. Больше он не проронил ни слова, хотя душа исходила криком. Внук ждет его возле школы. Все ребята уже разбежались по домам, и только он один, его сирый внук, глядит на дорогу и ждет деда.

Старик представлял себе, как дети всем классом выскочили, топая, из школы, как стали разбегаться по домам. Проголодались. Еще на улице они чуют запах приготовленной им еды и, радостные, возбужденные, пробегают под окнами своих домов. Матери ждут уже. У каждой есть улыбка, от которой голова идет кругом. Худо ли самой матери, хорошо ли ей, а на улыбку для своего ребенка у нее всегда сил хватит. И если даже мать прикрикнет построже: «А руки? Руки кто будет мыть?» — все равно в глазах у нее спрятана та же улыбка.

У момуновского внука с тех пор, как он стал учиться, руки всегда были в чернилах. И деду это даже нравилось: значит, парень делом занимается. И вот стоит сейчас на дороге его внук, с руками

в чернилах, держа свой любимый портфель, купленный этим летом. Он, наверно, устал ждать и уже беспокойно поглядывает, прислушивается — не появится ли на пригорке дед верхом на коне. Ведь он всегда вовремя приезжал. Когда мальчик выходил из школы, дед, уже спешившись, ждал его неподалеку. Все расходились по домам, а внук бежал к деду. «Вон дедушка. Побежим!» — говорил мальчик портфелю. И, добежав, смущенно кинулся бы к деду, обнял его и ткнулся лицом в живот, вдыхая привычный запах старой одежды и сухого летнего сена: в эти дни дед переправлял на вьюках сено с того берега, зимой по глубокому снегу не доберешься до него, лучше перевезти с осени. И долго потом Момун ходил, пропахнувший горьковатой сенной пыльцой.

Дед сажал мальчика позади себя на круп лошади, и они ехали домой то дорожной рысцой, то шагом, то молча, то переговариваясь о чем-нибудь незначительном, и незаметно приезжали. Через седловину между горками спускались к себе, в Сан-Ташскую падь.

Неистовое влечение мальчика к школе раздражало бабку. Едва проснувшись, он быстро одевался и перекладывал книги и тетради в портфеле. Бабку сердило и то, что он кладет на ночь

портфель рядом с собой. «И чего это ты прилип к этому поганому портфелю? Хоть бы стал он тебе женой, нас от калыма за невесту избавил…» Мальчик пропускал мимо ушей бабкины слова, да и не очень понимал, о чем идет речь. Главным для него было не опаздывать в школу. Он выбегал во двор, торопил деда. И успокаивался лишь тогда, когда школу было уже видно.

Однажды они все же опоздали. На прошлой неделе чуть свет Момун переправился верхом на тот берег. Решил сделать с утра одну ездку за сеном. Все бы ничего, но по пути вьюк развязался, сено высыпалось. Пришлось снова перевязывать весь вьюк, снова навьючивать коня. Второпях увязанное сено снова рассыпалось у самого берега.

А внук уже ждал на той стороне. Он, стоя на щербатом камне, размахивал портфелем и что-то кричал, звал. Старик заспешил — веревки запутались, не развяжешь, стянулись в узлах. А мальчишка все кричал, и старик понял, что он уже плачет. Тогда он бросил все — сено и веревки, — сел на лошадь — и побыстрей к внуку, через брод.

Пока переправился, тоже время прошло: через брод не поскачешь — воды много, течение быст-

рое. Осенью еще не так страшно, а летом сшибет коня с ног

— и пропал. Когда Момун наконец перебрался через реку и подъехал к внуку, тот уже плакал навзрыд. На деда не смотрел, только плакал и приговаривал: «Опоздал, опоздал в школу...» Старик свесился с коня, поднял мальчика к себе в седло и поскакал. Была бы она рядом, эта школа, сам бы бегал мальчишка. А то ведь всю дорогу не переставая плакал, и никак не мог старик успокоить его. Так и привез ревущего в школу. А уроки уже начались. Повел прямо в класс.

Извинялся, извинялся Момун перед учительницей, обещал, что в другой раз такого не случится. Но больше всего потрясло старика то, как плакал внук, переживал свое опоздание. «Дай-то бог, чтобы всегда тебя так тянуло в школу», — думал дед. Однако почему все-таки так плакал парнишка? Значит, есть в его душе обида, невысказанная, своя обида...

И теперь, идя обочь бревна, забегая то на одну, то на другую сторону, подталкивая, подтыкивая бревно вагой, чтобы оно нигде не цеплялось, чтобы скользило быстрей с горы, Момун все думал: как-то он там, внук?

А Орозкул не спешил. Он шел коноводом. Да и

не очень поспешишь тут — спуск долгий, крутой, приходится идти по склону наискось. Но разве нельзя было уважить его просьбу — оставить пока бревно, а потом вернуться и забрать? Эх, была бы сила, взвалил бы он бревно на плечо, шагнул через реку, сбросил бы его на то место, где будет грузиться машина! Нате, мол, получите свое бревно — и отстаньте. А сам пустился бы к внуку.

Но где там! Надо еще добраться до берега, по камням, по галечнику, а там через брод волочить бревно конем на ту сторону. А конь уже замучился — сколько прошел он по горам то вниз, то вверх… Хорошо еще, если все обойдется, а ну как застопорится бревно в камнях на середине реки или конь споткнется и упадет?

И когда они пошли по воде, дед Момун взмолился: «Помоги, Рогатая мать-олениха, не дай застрять бревну, не дай коню упасть!» Разувшись, перекинув сапоги через плечо, закатав штаны выше колен, с вагой в руках дед Момун поспевал за плывущим бревном. Бревно волокли наискось против течения. Насколько чиста и прозрачна была вода в реке, настолько и холодна. Осенняя вода.

Старик терпел: пусть, ноги не отвалятся, лишь

бы быстрей переправить бревно. И все-таки бревно застряло, как назло, село на камни в самом порожистом месте. В таких случаях надо дать коню немного передохнуть и затем понукнуть его как следует, хорошим рывком можно снять бревно с камней. Но Орозкул, сидя на нем верхом, нещадно нахлестывал камчой уже ослабевшего, притомившегося коня. Конь оседал на задние ноги, скользил, спотыкался, а бревно не трогалось с места. Ноги старика окоченели, в глазах у него стало темнеть. Голова кружилась. Обрыв, лес над обрывом, облака в небе наклонились, падали в реку, уплывали по быстрому течению и снова возвращались. Плохо становилось Момуну. Проклятое бревно! Было бы оно сухое, вылежавшееся, тогда разговор другой, — сухой лес сам по воде плывет, только удерживай его. Это же только спилили и сразу поволокли через реку. Кто же так делает! Вот и получается. У темного дела конец худой. Оставлять сосну на высушку Орозкул не решается: нагрянет инспекция, акт составит — порубка ценных деревьев в заповедном лесу. Потому, как спилили, так побыстрей стаскивает бревно с глаз долой.

Орозкул бил коня каблуками, плетью, бил его по голове, матерился, орал на старика, будто он,

Момун, был виноват во всем, а бревно не поддавалось, оно все больше залеживалось в камнях. И лопнуло терпенье старика. В первый раз за всю жизнь он повысил голос во гневе.

— Слазь с коня! — решительно подошел он к Орозкулу, стягивая его с седла. — Разве ты не видишь, что конь не тянет? Слазь сейчас же!

Удивленный Орозкул молча подчинился. Прыгнул прямо в сапогах с седла в воду. С этой минуты он как бы оглупел, оглох, потерял себя.

— Давай Подналяг! Вместе давай!

По команде Момуна они налегли на вагу, приподнимая бревно с места, высвобождая его из затора камней.

До чего же умное животное конь! Он рванулся именно в этот момент и, спотыкаясь, скользя по камням, натянул постромки в струну. Но бревно чуть стронулось с места, заскользило и снова застряло. Конь сделал еще рывок и не удержался, упал в воду, забарахтался, путаясь в сбруе.

— Коня! Коня поднимай! — толкнул Момун Орозкула.

Вместе, с трудом, им удалось помочь лошади встать на ноги. Конь дрожал от холода, едва стоял в воде.

— Распрягай!

— Зачем?

— Распрягай, тебе говорю. Перепрягать будем. Снимай постромки.

И опять Орозкул молча повиновался. Когда лошадь была выпряжена, Момун взял ее за поводья.

— А теперь пошли, — сказал он. — Вернемся потом.

Пусть конь отдохнет.

— А ну-ка, стой! — Орозкул перехватил поводья из рук старика. Он как бы проснулся. Он снова вдруг стал самим собой. — Ты кому дуришь голову? Никуда ты не пойдешь. Бревно вывезем сейчас. Вечером за ним люди приедут. Запрягай коня без разговоров, слышишь!

Момун молча повернулся и, ковыляя на закоченевших ногах, пошел бродом к берегу.

— Ты куда, старик? Куда, говорю?

— Куда! Куда! В школу. Внук там ждет с самого полдня.

— А ну вернись! Вернись!

Старик не послушался. Орозкул оставил лошадь в реке и уже почти у берега, на галечнике, настиг Момуна, схватил его за плечо, крутанул к себе.

И они оказались лицом к лицу.

Коротким движением руки Орозкул сорвал с

плеча Момуна перекинутые голенищами старые кирзовые сапоги и наотмашь дважды ударил ими тестя по голове и по лицу.

— Пошли! Ну! — прохрипел Орозкул, отшвыривая в сторону сапоги.

Старик подошел к сапогам, поднял их с мокрого песка, и, когда распрямился, на губах у него выступила кровь.

— Негодяй! — сказал Момун, сплевывая кровь, и перебросил сапоги снова через плечо.

Это сказал Расторопный Момун, никогда никому не прекословивший, это сказал посиневший от холода жалкий старикашка с перекинутыми через плечо старыми сапогами, с пузырящейся на губах кровью.

— Пошли!

Орозкул потащил его за собой. Но Момун с силой вырвался и, не оглядываясь, молча пошел прочь.

— Ну, старый дурень, теперь держись! Я тебе это припомню! — прокричал ему вслед Орозкул, потрясая кулаком.

Старик не оглянулся. Выйдя на тропу возле «Лежащего верблюда», он сел, обулся и быстро пошел домой. Нигде не задерживаясь, направился прямо в конюшню. Оттуда вывел серого коня Алабаша,

неприкосновенного орозкуловского выездного коня, на которого никто не смел садиться и которого не запрягали, чтобы не попортить скаковую стать. Точно на пожар, Момун выехал со двора без седла, без стремян. И когда он проскакал мимо окон, мимо все еще дымящегося самовара, выскочившие наружу женщины — старуха Момуна, его дочь Бекей и молодая Гульджамал — поняли сразу, что со стариком что-то случилось. Никогда он не садился верхом на Алабаша и никогда не скакал так по двору сломя голову. Они не знали еще, что это был бунт Расторопного Момуна. И не знали еще, во что обойдется ему этот бунт на старости лет…

А со стороны брода возвращался Орозкул, ведя в поводу выпряженную лошадь. Лошадь припадала на переднюю ногу. Женщины молча смотрели, как он приближался ко двору. Они еще не догадывались, что творилось в душе Орозкула, что он нес им в тот день, какие беды, какие страхи…

В мокрых, хлюпавших сапогах, в мокрых штанах, подойдя к ним грузными, тяжелыми шагами, он мрачно глянул на женщин исподлобья. Жена его, Бекей, забеспокоилась:

— Что с тобой, Орозкул? Что случилось? Да ты же мокрый весь. Бревно уплыло?

— Нет, — отмахнулся Орозкул. — На, — передал он поводья Гульджамал. — Отведи коня в конюшню. — А сам пошел к дверям. — Пошли в дом, — сказал он жене.

Бабка тоже хотела было пойти вместе с ними, но Орозкул не пустил ее на порог.

— А ты иди, старуха. Нечего тебе здесь делать. Иди к себе и не приходи.

— Да ты что? — обиделась бабка. — Что ж это такое? А старик-то наш, как он? Что случилось?

— Спроси у него самого, — ответил Орозкул.

В доме Бекей стащила с мужа мокрую одежду, подала ему шубу, внесла самовар и стала наливать в пиалу чаю.

— Не надо, — отверг жестом Орозкул. — Дай мне выпить.

Жена достала непочатую поллитровку, налила в стакан.

— Полный налей, — приказал Орозкул.

Залпом опрокинув в себя стакан водки, он завернулся в шубу и, укладываясь на кошме, сказал жене:

— Ты мне не жена, я тебе не муж. Иди. Чтобы ноги твоей в доме не было. Иди, пока не поздно.

Бекей вздохнула, села на кровать и, привычно сглатывая слезы, тихо сказала:

— Опять?

— Что опять? — взревел Орозкул. — Вон отсюда!

Бекей выскочила из дому и, как всегда, заламывая руки, заголосила на весь двор:

— И зачем только родилась я на свет, горемычная!..

А в это время старик Момун скакал на Алабаше к внуку. Алабаш — быстрый конь. Но все равно опаздывал Момун на два с лишним часа. Он встретил внука на пути. Учительница сама вела мальчика домой. Та самая учительница, с обветренными, грубыми руками, в том самом неизменном пальто, в котором ходила она пятый год. Утомленная женщина выглядела хмурой. Мальчик же, давно наплакавшись, со вспухшими глазами, шел рядом с ней, с портфелем своим в руках, какой-то жалкий и униженный. Крепко отчитала учительница старика Момуна. Он стоял перед ней спешившись, опустив голову.

— Не привозите ребенка в школу, — говорила она, — если не будете забирать его вовремя. На меня не рассчитывайте, у меня своих четверо.

Опять извинился Момун, опять обещал, что больше такого не повторится.

Учительница вернулась в Джелесай, а дед с

внуком отправились домой.

Мальчик молчал, сидя на лошади перед дедом. И старик не знал, что сказать ему.

— Ты очень голоден? — спросил он.

— Нет, учительница мне хлеба дала, — ответил внук.

— А почему ты молчишь?

Мальчик ничего не сказал и на это.

Момун виновато улыбнулся:

— Обидчивый ты у меня. — Он снял фуражку с мальчика, поцеловал его в макушку и снова надел ему фуражку на голову.

Мальчик не обернулся.

Так они ехали, оба подавленные и молчаливые. Момун не давал воли Алабашу, строго придерживал поводья — не хотелось трясти мальчика на неоседланном коне. Да и спешить теперь стало вроде не к чему.

Конь вскоре понял, что от него требуется, — шел легкой полуиноходью. Пофыркивал, копытами стучал по дороге. На таком бы коне ехать в одиночку, песни петь негромкие — так, для самого себя. Мало ли о чем поет человек наедине с собой? О несбывшихся мечтах, о годах прошедших, о том, что было тогда еще, когда любилось... Нравится человеку повздыхать по той поре, где

осталось что-то навсегда недосягаемое. А что, собственно, — человек и сам толком не понимает. Но изредка ему хочется думать об этом, хочется почувствовать самого себя.

Добрый это попутчик — хороший конь хорошего хода…

И думал старик Момун, глядя на стриженый затылок внука, на его тонкую шею и оттопыренные уши, что от всей его жизни неудачливой, от всех его дел и трудов, от всех забот и печалей остался теперь у него только вот этот ребенок, это еще беспомощное существо, хорошо, если дед успеет поставить его на ноги. А останется он один — трудно придется. Сам с кукурузный початок, а уже характер свой. Ему бы попроще быть, поласковей… Ведь такие, как Орозкул, возненавидят его и будут терзать, как волки загнанного оленя…

И тут вспомнил Момун про маралов, про тех, что давеча промелькнули быстрыми, стремительными тенями, что исторгли из груди его возглас удивления и радости.

— А ты знаешь, сынок? К нам маралы пришли, — сказал дед Момун.

Мальчик живо оглянулся через плечо:

— Правда?

— Правда. Сам видел. Три головы.

— А откуда они пришли?

— По-моему, из-за перевала. Там тоже есть заповедные леса. Осень нынче стоит, как лето, перевал открыт. Вот они и пришли к нам в гости.

— А они останутся у нас?

— Понравится, так останутся. Если не трогать их, они и будут жить. Кормов у нас вдоволь. Тут хоть тысячу маралов держи… В прежние времена, при Рогатой матери-оленихе, тут их было видимо-невидимо…

Чувствуя, что мальчик оттаивает, слыша эту весть, что обида его забывается, старик принялся снова рассказывать о былых временах, о Рогатой матери-оленихе. И сам, увлекаясь своим рассказом, думал: как просто вдруг стать счастливым и принести счастье другому! Вот так бы и жить всегда. Да, вот так, как сейчас, как в этот час. Но жизнь не так устроена — рядом со счастьем постоянно подстерегает, вламывается в душу, в жизнь несчастье, неотлучно следующее за тобой, извечное, неотступное. Даже в этот час, когда они с внуком были счастливы, в душе старика рядом с радостью стояла тревога: что там Орозкул? Что он готовит, какую расправу? Какое задумал наказание ему, старику, посмевшему ослушаться?

Ведь Орозкул этого так не оставит. Иначе он не был бы Орозкулом.

И чтобы не думать о несчастье, ожидавшем его дочь и его самого, Момун рассказывал внуку о маралах, о благородстве, о красоте и быстроте этих животных так самозабвенно, точно мог этим отвратить неизбежное.

А мальчику было хорошо. Он и не подозревал, что ждет его дома. У него горели глаза и уши. Как, неужели вернулись маралы? Значит, все это правда! Дед говорит, что простила Рогатая мать-олениха людские преступления против нее и разрешила детям своим вернуться в иссык-кульские горы. Дед говорил, что сейчас пришли три марала, чтобы разузнать, как тут, и если им понравится, то все маралы снова вернутся па родину.

— Ата, — прервал деда мальчик. — А может быть, пришла сама Рогатая мать-олениха? Может быть, она хочет посмотреть, как тут у нас, а потом позвать своих детей, а?

— Может быть, — неуверенно промолвил Момун. Он запнулся. Старик почувствовал себя неловко: не слишком ли он увлекся, не слишком ли мальчик уверовал в его слова? Но не стал разуверять дед Момун своего внука, да теперь уже это

было бы слишком поздно. — Кто знает, — пожал он плечами. — Может быть, может быть, пришла и сама Рогатая мать-олениха. Кто знает…

— А вот мы узнаем. Давай, ата, пойдем на то место, где ты видел маралов, — сказал мальчик, — я тоже хочу посмотреть.

— Но они же не стоят на одном месте.

— А мы пойдем по следам. Будем долго-долго идти по их следам. А как увидим их хоть краешком глаза, вернемся. И тогда они подумают, что люди не будут трогать их.

— Ребенок ты, — усмехнулся дед. — Приедем домой, там видно будет.

Они уже подъезжали к кордону по тропе позади домов. Дом сзади — как человек со спины. Все три дома не подавали никаких знаков, что происходило внутри их. И во дворе тоже было пусто и тихо. Недоброе предчувствие сжало сердце Момуна. Что могло произойти? Избил Орозкул его несчастную Бекей? Напился пьяный? Что еще могло случиться? Почему так тихо, почему никого нет в этот час во дворе? «Если все в порядке, надо вытащить это злосчастное бревно из реки, — подумал Момун. — Ну его, Орозкула, лучше с ним не связываться. Лучше сделать, что хочет, да плюнуть на все это. Ослу ведь не докажешь,

что он осел».

Момун подъехал к конюшне.

— Слезай. Вот мы и приехали, — стараясь не выдать своего волнения, сказал он внуку так, как будто они прибыли издалека.

А когда мальчик с портфелем своим побежал было домой, дед Момун остановил его:

— Постой, вместе пойдем.

Он поставил Алабаша в конюшню и, взяв мальчика за руку, пошел к дому.

— Ты смотри, — сказал дед внуку, — если меня будут ругать, ты не бойся и не слушай всякие там разговоры. Тебя это не касается. Твое дело в школу ходить.

Но ничего такого не произошло. Когда они пришли домой, бабка только глянула на Момуна долгим осуждающим взглядом и, поджав губы, снова принялась за свое шитье. Дед тоже ничего не сказал ей. Хмурый и настороженный, он постоял посреди комнаты, потом взял с плиты большую чашку с лапшой, прихватил ложки и хлеб, и они сели с внуком за поздний обед.

Ели молча, а бабка даже не глядела в их сторону. На ее дряблом, коричневом лице застыл гнев. Мальчик понял, что произошло что-то очень плохое. А старики все молчали.

Так страшно, так тревожно становилось мальчику, что и еда не шла в горло. Хуже нет, когда за обедом люди молчат и думают о чем-то своем, недобром и подозрительном. «Может быть, это мы виноваты?» — мысленно сказал мальчик портфелю. Портфель лежал на подоконнике. Сердце мальчика покатилось по полу, вскарабкалось на подоконник, поближе к портфелю и зашепталось с ним.

«Ты ничего не знаешь? Почему дедушка такой печальный? В чем он виноват? И почему он опоздал сегодня, почему приехал на Алабаше и без седла? Ведь такого никогда не бывало. Может быть, он увидел маралов в лесу и поэтому задержался?.. А вдруг и нет никаких маралов? Вдруг это неправда? Что тогда? Зачем он рассказывал? Ведь Рогатая мать-олениха очень обидится, если он обманул нас...»

Покончив с обедом, дед Момун сказал негромко мальчику:

— Ты иди во двор, дело есть одно. Поможешь мне. Я сейчас.

Мальчик послушно вышел. И как только он закрыл за собой дверь, раздался голос бабки:

— Ты куда?

— Пойду бревно вывезу. Давеча оно застряло в

реке, — ответил Момун.

— А, спохватился! — вскричала бабка. — Опомнился! Ты иди, посмотри на свою дочь. Ее Гульджамал увела к себе. Кому она нужна теперь, твоя неродящая дура. Пойди, пусть она скажет, кто она теперь. Как собаку паршивую, выгнал ее из дому муж.

— Ну что же, выгнал так выгнал, — сказал с горечью Момун.

— Ишь ты! Да кто ты сам? Дочери твои беспутные, так, думаешь, внука выучить на начальника, что ли? Жди! Было бы из-за кого на рожон лезть. Да еще на Алабаша вскочил и помчался. Гляди какой! Знал бы свое место, помнил бы, с кем ты связываешься… Он тебе шею свернет, как курице. С каких это пор ты стал перечить людям? С каких это пор стал героем? А дочь свою и не думай приводить к нам. На порог не пущу…

Мальчик понуро побрел по двору. В доме еще раздавались крики бабки, потом дверь хлопнула, и Момун выскочил из дому. Старик направился к дому Сейдахмата, но на пороге его встретила Гульджамал.

— Лучше не надо сейчас, потом, — сказала она Момуну. Момун растерянно остановился. — Плачет, избил он ее, — зашептала Гульджамал. —

Говорит, что теперь они жить вместе не будут. Проклинает она вас. Говорит, что во всем отец виноват.

Момун молчал. Что сказать? Теперь даже родная дочь не хотела видеть его.

— А Орозкул там пьет у себя. Зверь зверем, — шепотом рассказывала Гульджамал.

Они призадумались. Гульджамал сочувственно вздохнула:

— Хоть бы Сейдахмат наш приехал поскорей. Должен бы сегодня вернуться. Вывезли бы вместе это бревно да избавились хоть от этого.

— Разве дело в бревне? — покачал головой Момун. Он задумался и, увидев рядом внука, сказал ему: — Ты иди поиграй.

Мальчик отошел в сторону. Пошел в сарай, взял спрятанный там бинокль. Отер его от пыли. «Плохи наши дела, — грустно сказал он биноклю. — Кажется, это мы с портфелем виноваты. Была бы где-нибудь другая школа. Ушли бы мы с портфелем туда учиться. И чтобы никто не знал. Только вот деда жалко — искать будет. А ты, бинокль, с кем будешь смотреть на белый пароход? Думаешь, я рыбой не сделался бы? Вот посмотришь. Поплыву к белому пароходу...»

Мальчик спрятался за стогом сена и стал

смотреть вокруг в бинокль. Невесело и недолго смотрел. В другое время не наглядишься: стоят осенние горы, покрытые лесами осенними, наверху снег белый, внизу огонь красный.

Мальчик положил бинокль на место и, выходя из сарая, увидел, как дед повел через двор коня в хомуте и сбруе. Он направился к броду. Мальчик хотел побежать к деду, но его остановил окрик Орозкула. Орозкул выскочил из дому в исподней рубашке, с шубой на плечах. Лицо его было багровым, как воспаленное вымя.

— Эй ты! — грозно крикнул он Момуну. — Куда ведешь коня? А ну, поставь на место. Без тебя вывезем. И не смей трогать. Ты теперь здесь никто. Я тебя увольняю с кордона. Убирайся куда хочешь.

Дед горько усмехнулся и повел коня обратно в конюшню. Момун вдруг стал совсем стареньким и маленьким. Шел, шаркая подошвами и не глядя по сторонам.

Мальчик задохнулся от обиды за деда, и, чтобы никто не видел, как он заплакал, побежал берегом реки. Тропинка впереди туманилась, пропадала и снова ложилась под ноги. Мальчик бежал в слезах. Вот они, его любимые прибрежные валуны: «Танк», «Волк», «Седло», «Лежащий верблюд». Мальчик ничего не сказал им — ничего они не

понимают, стоят себе и стоят. Мальчик обнял горб «Лежащего верблюда» и, приваливаясь к рыжему граниту, заплакал навзрыд, горько и безутешно. Он долго плакал, постепенно стихая и успокаиваясь.

Наконец поднял голову, протер глаза и, глянув перед собой, оцепенел.

Прямо перед ним, на другом берегу, у воды стояли три марала. Настоящие маралы. Живые, они пили воду и, кажется, уже напились. Один — тот, что был с самыми большими, тяжелыми рогами, — снова опустил голову к воде и, потягивая ее, казалось, рассматривал в мелкой заводи свои рога, как в зеркале. Он был буроватого цвета, грудастый и мощный. Когда он вскинул голову, с его волосатой светлой губы упали в воду капли. Пошевеливая ушами, рогач внимательно глянул на мальчика.

Но больше всего на мальчика смотрела белая, бокастая олениха с короной тонких ветвистых рогов на голове. Рога у нее были чуть поменьше, но очень красивые. Она была в точности такая, как Рогатая мать-олениха. Глаза большущие, ясные. А сама — как кобылица статная, приносящая каждый год по жеребенку. Рогатая мать-олениха смотрела на мальчика пристально, спокойно,

точно вспоминала, где она видела этого большеголового ушастого мальчишку. Глаза ее влажно поблескивали и светились издали. Из ноздрей легкий парок поднимался. Рядом с ней, повернувшись задом, объедал ветки тальника молодой комолый телок. Ему ни до чего не было дела. Он был упитанный, крепкий и веселый. Бросив вдруг глодать ветки, он резко подпрыгнул, задел олениху плечом и, попрыгав еще вокруг, стал ласкаться. Терся своей безрогой головой о бока Рогатой матери-оленихи. А Рогатая мать-олениха все смотрела на мальчика.

Затаив дыхание, мальчик вышел из-за камня, как во сне, протянув руки перед собой, подошел к берегу, к самой воде. Маралы нисколько не испугались. Они спокойно взирали на него с того берега.

Между ними протекала быстрая, прозрачно-зеленоватая река, вскипая, переливаясь через заторы подводных камней. И если бы не эта река, разделявшая их, то можно было бы, казалось, подойти и потрогать маралов. Маралы стояли на ровном, чистом галечнике. А за ними — там, где кончалась полоса галечника, — красной стеной пламенели осенние кущи тугайного леса. А выше — глинистый обрыв, над обрывом золотисто-баг-

ряные березы и осины, и еще выше — большой лес и белый снег на скалистых кряжах.

Мальчик закрыл глаза и снова открыл. Перед ним была все та же картина, а чуть ближе краснолиственного тугая стояли на чистом галечнике все те же сказочные маралы.

Но вот они повернулись и пошли гуськом через галечник в лес. Впереди — большой марал, в середке комолый телок, за ним Рогатая мать-олениха. Она оглянулась, еще раз посмотрела на мальчика. Маралы вошли в тугай, пошли через кусты. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины.

Потом они пошли по тропке вверх, поднялись на обрыв. Здесь остановились. И опять мальчику почудилось, что маралы глядели на него. Большой марал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел как труба: «Ба-о! Ба-о!» Его голос прокатился над обрывом, над рекой долгим эхом: «А-о, а-о!»

И тут только мальчик опомнился. Со всех ног он кинулся бежать домой по знакомой тропе. Он бежал во весь дух. Он пронесся по двору и, шумно распахнув дверь, крикнул, задыхаясь, с порога:

— Ата! Маралы пришли! Маралы! Они здесь!

Дед Момун глянул на него из угла, где сидел скорбный и тихий, и ничего не сказал, точно не понимал, о чем идет речь.

— Ладно тебе шуметь! — шикнула бабка. — Пришли так пришли, не до них сейчас.

Мальчик тихо вышел. На дворе было пусто. Осеннее солнце уже заваливалось за Караульную гору, за соседнюю гряду голых сумеречных гор. Густым негреющим заревом рдело солнце на холодеющих горных пустынях. И отсюда это стылое зарево растекалось окрест зыбким отсветом по верхам осенних гор. Леса покрывались вечерней мглою.

Стало зябко. Ветер потянул со снегов. Мальчик дрожал. Его знобило.

VI

Его знобило и тогда, когда он лег в постель. Он долго не мог уснуть. На дворе уже чернела ночь. Голова болела. Но мальчик молчал. И никто не знал, что он заболел. Забыли. Да и как тут было не забыть!

Дед совсем сбился с толку. Места себе не находил. То выйдет, то зайдет, то присядет, пригорюнившись и тяжко вздыхая, то снова встанет и куда-то уйдет. Бабка злобно ворчала на старика и тоже шастала взад и вперед, во двор выходила, возвращалась. На дворе раздавались какие-то неясные, отрывистые голоса, чьи-то торопливые шаги, чья-то ругань, — кажется, опять ругался Орозкул, кто-то плакал всхлипывая…

Мальчик тихо лежал и все больше уставал от всех этих голосов и шагов, от всего того, что происходило в доме и во дворе.

Он закрывал глаза и, скрашивая одиночество свое, свою забытость, вспоминал то, что случилось сегодня, то, что хотелось ему видеть. Он стоял на берегу большой реки. Вода текла так быстро, невозможно было долго смотреть, голова кружи-

лась. А с другого берега глядели на него маралы. Все три марала, которых он видел под вечер, теперь снова стояли там. И все повторялось снова. С мокрой губы большого рогача упали в заводь те же капли, когда он вскинул голову от воды. А Рогатая мать-олениха все так же пристально смотрела на мальчика добрыми, понимающими глазами. А глаза у нее были большущие, темные и влажные. Мальчик очень удивился, что Рогатая мать-олениха может вздыхать по-человечески. Печально и горестно, как его дед. Потом они уходили через кусты тугая. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины. Они поднялись на обрыв. Здесь остановились. Большой марал вытянул шею и, запрокидывая рога па спину, прогремел, как труба: «Ба-о! Ба-о!» Мальчик улыбнулся про себя, вспоминая, как голос большого марала прокатился над рекой долгим эхом. После этого маралы скрылись в лесу. Но мальчику не хотелось с ними расставаться, и он стал придумывать то, что ему хотелось видеть.

И снова стремительно протекала перед ним большая быстрая река. Голова кружилась от скорости течения. Он прыгнул и перелетел через реку. Плавно и мягко опустился неподалеку от

маралов, которые все так же стояли на галечнике. Рогатая мать-олениха подозвала его к себе:

— Ты чей будешь?

Мальчик молчал: ему стыдно было говорить, чей он.

— Мы с дедом тебя очень любим, Рогатая мать-олениха. Мы тебя давно ждали, — промолвил он.

— И я тебя знаю. И деда твоего знаю. Он хороший человек, — сказала Рогатая мать-олениха.

Мальчик обрадовался, но не знал, как поблагодарить ее.

— Хочешь, я сделаюсь рыбой и поплыву по реке в Иссык-Куль к белому пароходу? — вдруг сказал он.

Это он умел. Но Рогатая мать-олениха ничего не ответила на это. Тогда мальчик стал раздеваться, и, как бывало летом, поеживаясь, полез в воду, держась за ветку прибрежного тальника. Но вода оказалась не ледяной, а горячей, жаркой, душной. Он поплыл под водой с открытыми глазами, и мириады золотистых песчинок, мелких подводных камушков закружились вокруг гудящим роем. Он стал задыхаться, и горячий поток все тащил и тащил его.

— Помоги, Рогатая мать-олениха, помоги мне, я тоже твой сын. Рогатая мать-олениха! — громко

кричал он.

Рогатая мать-олениха побежала следом по берегу. Быстро бежала, ветер свистел в ее рогах. И сразу ему стало легче.

Он был в поту. Помня, что дед в таких случаях еще теплей укутывал его, мальчик укрылся получше. В доме никого не было. Фитиль в лампе уже нагорел, и потому она тускло светила. Мальчик хотел встать, напиться, но со двора раздались опять какие-то резкие голоса, кто-то на кого-то кричал, кто-то плакал, кто-то успокаивал. Слышалась возня, топот ног… Потом у самого окна, ахая и охая, протопали двое, точно бы один тащил другого. Дверь с шумом распахнулась, и бабка, разъяренная, тяжело дыша, буквально втолкнула деда Момуна в дом. Никогда не видел мальчик деда своего таким перепуганным. Казалось, он ничего не соображал. Глаза старика растерянно блуждали. Бабка толкнула его в грудь, заставила сесть.

— Сиди, сиди, старый дурак, и не лезь, когда не просят. Первый раз, что ли, у них такое? Если хочешь, чтобы все уладилось, сиди и не суйся. Делай, что я тебе говорю. Слышишь? А не то сживет он нас, ты понимаешь, сживет со свету. А куда нам на старости лет идти? Куда? — С этими сло-

вами бабка хлопнула дверью и снова торопливо умчалась.

В доме опять стало тихо. Слышалось только хриплое, прерывистое дыхание деда. Он сидел на приступке у плиты, стиснув голову трясущимися руками. И вдруг старик упал на колени и, вздевая руки, застонал, обращаясь неизвестно к кому:

— Возьми меня, забери меня, горемычного! Только дай ей дитя! Сил моих нет глядеть на нее. Дай хоть одного-единственного, пожалей нас…

Плача и шатаясь, старик встал и, хватаясь за стены, нашарил двери. Он вышел, прикрыл за собой дверь и там, за дверьми, глухо рыдал, зажимая себе рот.

Мальчику стало худо. Опять зазнобило. То в жар, то в холод кидало. Он хотел встать, пойти к деду. Но руки и ноги не слушались, голова налилась болью. А старик плакал за дверью, и во дворе снова бушевал пьяный Орозкул, отчаянно вопила тетка Бекей, умоляли, уговаривали их голоса Гульджамал и бабки.

Мальчик ушел от них в свой воображаемый мир.

Снова стоял он на берегу быстрой реки, а на другом берегу, на галечнике, стояли все те же маралы. И тогда взмолился мальчик: «Рогатая

мать-олениха, принеси тетке Бекей люльку на рогах! Очень прошу тебе, принеси им люльку! Пусть будет у них ребенок», — а сам бежал по воде к Рогатой матери-оленихе. Вода не проваливалась, но и он не приближался к тому берегу, а как будто топтался в беге на месте. И все время умолял, заклинал Рогатую мать-олениху: «Принеси им люльку на рогах! Сделай так, чтобы не плакал наш дед, сделай так, чтобы дядя Орозкул не бил тетку Бекей. Сделай так, чтобы родился у них ребенок. Я всех буду любить, и дядю Орозкула буду любить, только дай ему своего ребенка. Принеси им люльку на рогах!..»

Чудилось мальчику, что зазвенел вдали колоколен. Он звенел все слышней. То бежала по горам мать-олениха и несла на рогах своих, подцепив за дужку, детскую колыбель — березовый бешик с колокольном. Заливался колыбельный колоколец. Очень спешила Рогатая мать-олениха. Все ближе и ближе звенел колокольчик…

По что это? К звону колокольчика присоединился далекий гул мотора. Где-то шел грузовик. Гудение машины нарастало все сильней, все явственней, а колокольчик оробел, телинькал с перебоями и вскоре совсем затерялся в шуме мотора.

Мальчик услышал, как, погромыхивая железом о железо, подъехала ко двору машина. Собака с лаем кинулась на задворье. На минуту колыхнулся в окне отраженный свет фар и сразу погас. И мотор заглох. Хлопнули дверцы кабины. Переговариваясь между собой, приезжие — судя по голосам, человека три — прошли мимо окна, за которым лежал мальчик.

— Сейдахмат приехал, — раздался вдруг обрадованный голос Гульджамал, и слышно было, как она заторопилась навстречу мужу. — А мы заждались!

— Здравствуйте, — ответили ей незнакомые люди.

— Ну, как вы тут? — спросил Сейдахмат.

— Да ничего. Живем. Что так поздно?

— И то скажи — удачно. Добрался до совхоза, жду-пожду попутную машину. Хотя бы до Джелесая. А тут как раз вот они к нам за лесом, — рассказывал Сейдахмат. — Темно по ущелью. Дорога — сама знаешь.

— А Орозкул где? Дома? — поинтересовался один из приезжих.

— Дома, — неуверенно ответила Гульджамал. — Приболел малость. Да вы не беспокойтесь. Переночуете у нас, место есть. Идемте.

Они двинулись. Но через несколько шагов приостановились.

— Здравствуйте, аксакал. Здравствуйте, байбиче.

Приезжие здоровались с дедом Момуном и бабкой. Стало быть, те устыдились приезжих, встретили их во дворе, как положено встречать чужих. Может быть, и Орозкул устыдится? Хоть бы уж не позорил себя и других.

Мальчик немного успокоился. Да и вообще ему стало чуть легче. Голову ломило меньше. Он даже подумывал, не встать ли и не пойти посмотреть на машину — какая она, на четырех колесах или на шести? Новая или старая? А прицеп какой? Однажды весной нынешней к ним на кордон заезжал даже военный грузовик — на высоких колесах и курносый, точно ему нос отрубили. Молодой солдат-шофер пустил мальчика посидеть в кабине. Здорово! А прибывший военный с золотистыми погонами ходил вместе с Орозкулом в лес. Чего это? Никогда такого не бывало.

— Вы что, шпиона ищете? — спросил мальчик солдата.

Тот усмехнулся:

— Да, шпиона ищем.

— А к нам еще ни один шпион не приходил, —

грустно проронил мальчик.

Солдат рассмеялся:

— А зачем он тебе?

— Я бы гонялся за ним и поймал бы его.

— Ух ты, какой прыткий! Мал еще, подрасти.

И пока военный с золотыми погонами ходил с Орозкулом по лесу, мальчик с шофером разговорились.

— Я люблю все машины и всех шоферов, — сказал мальчик.

— Это почему же? — поинтересовался солдат.

— Машины — они хорошие, сильные и быстрые. И они хорошо пахнут бензином. А шоферы — они все молодые, и все они дети Рогатой матери-оленихи.

— Что? Что? — не понял солдат. — Какой это Рогатой матери?

— А ты разве не знаешь?

— Нет. Никогда не слышал о таком чуде.

— А кто ты?

— Я из Караганды, казах. В школе шахтерской учился.

— Нет, чей ты?

— Отца, матери.

— А они чьи?

— Тоже отца, матери.

— А они?

— Слушай, да так можно без конца спрашивать.

— А я сын сыновей Рогатой матери-оленихи.

— Кто это тебе сказал?

— Дедушка.

— Что-то не то, — сомневаясь, покачал головой солдат.

Его заинтересовал этот головастый мальчишка с оттопыренными ушами, сын сыновей Рогатой матери-оленихи. Солдат, однако, был несколько сконфужен, когда выяснилось, что он не только не знает, откуда его род начинается, но даже и обязательного колена семерых отцов не знает. Он знал только своего отца, деда, прадеда. А дальше?

— Разве тебя не учили запоминать имена семерых предков? — спросил мальчик.

— Не учили. А зачем это? Я вот не знаю, и ничего. Живу нормально.

— Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся.

— Кто испортится? Люди?

— Да.

— А почему?

— Дед говорит, что тогда никто не будет сты-

диться плохих дел, потому что дети и дети детей о нем не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом не будут знать.

— Ну и дед у тебя! — искренне подивился солдат. — Интересный дед. Только забивает он тебе голову всякой чепухой. А ты ведь большеголовый… И уши у тебя такие, как локаторы у нас на полигоне. Не слушай ты его. К коммунизму идем, в космос летаем, а он чему учит? К нам бы на политзанятия его, мы бы его мигом образовали. Вот ты вырастешь, выучишься — и уезжай давай от деда. Темный, некультурный он человек.

— Нет, я от деда никогда не уйду, — возразил мальчик. — Он хороший.

— Ну, это пока что. А потом поймешь.

Сейчас, прислушиваясь к голосам, мальчик вспомнил об этой военной машине и то, как он тогда так и не сумел толком объяснять солдату, почему здешние шоферы, по крайней мере, те, которых он знал, считались сыновьями Рогатой матери-оленихи.

Мальчик говорил ему правду. В его словах не было никакой выдумки. В прошлом году, как раз в такую же осеннюю пору или, кажется, чуть позднее, в горы за сеном приехали совхозные

машины. Они проезжали не мимо кордона, а, немного не доезжая до него, сворачивали по дороге в лощину Арчу и уходили наверх — туда, где летом накосили сено, чтобы затем осенью вывезти в совхоз. Заслышав небывалое гудение моторов на Караульной горе, мальчик побежал на развилку. Сразу столько машин. Одна за другой. Целая колонна. Он насчитал их пятнадцать штук.

Погода стояла на изломе, со дня на день мог повалить снег — и тогда «прощай, сено, до следующего года». В этих местах, если не успеешь вовремя вывезти сено, потом о нем и не думай. Не проедешь. Видимо, замешкались в совхозе с разными делами; и когда время поджало, решили одним разом, всеми машинами вывезти заготовленное сено. Но не тут-то было!..

Мальчик, однако, об этом не знал, да ему-то, собственно, какое дело? Суматошный, радостный, он просто бежал навстречу каждой машине, немного пробегал наперегонки с ней, потом встречал следующую. Грузовики катились все новенькие, с красивыми кабинами, с широкими стеклами. А в кабинах сидели молодые джигиты, все как на подбор безусые, а в иных по двое парней. Напарники ехали накладывать и увязывать сено. Все

они казались мальчику красивыми, бравыми, веселыми. Как в кино.

В общем-то мальчик не ошибался. Так оно и было. Машины у ребят были исправные, и они быстро мчались, миновав спуск с Караульной горы, по щебенистой, твердой дороге. Настроение у них было отличное — погода неплохая, а тут еще, откуда ни возьмись, какой-то ушастый и головастый сорванец выбегает навстречу каждой машине, ошалев от дикой радости. Как тут было не посмеяться и не помахать ему рукой и не пригрозить ему шутя, чтобы он еще больше веселился и озорничал…

А самый последний грузовик, так тот даже остановился. Выглянул из кабины молодой парень в солдатской одежде, бушлате, но только без погон и без военной фуражки, а в кепке. Это был шофер.

— Здравствуй! Ты чего тут, а? — приветливо подмигнул он мальчишке.

— Так просто, — не без смущения ответил мальчик.

— Ты деда Момуна внук?

— Да.

— Я так и знал. Я ведь тоже бугинец. Да тут все ребята поехали бугинцы. За сеном катим.

Теперешние бугинцы друг друга и не знают, поразбрелись… Деду привет передай. Скажи, что видел Кулубека, сына Чотбая. Скажи, что вернулся Кулубек из армии и теперь шофером в совхозе. Ну, бывай! — И на прощание он подарил мальчику какой-то военный значок, очень занятный. На орден похожий.

Машина зарычала, как барс, и унеслась, догоняя своих. И так захотелось вдруг мальчику уехать с этим приветливым, бравым парнем в бушлате, с братом-бугинцем. Но дорога уже опустела, и пришлось ему возвращаться домой. Гордый вернулся, однако рассказал деду о встрече. А значок нацепил на грудь.

В тот день под вечер ударил вдруг ветер санташский, оттуда, с хребта поднебесного. Обрушился шквалом. Листья над лесом взметнулись столбом и, поднимаясь в небо все выше, с гулом понеслись над горами. И вмиг закрутилась такая непогодь, глаз не раскроешь. И сразу снег. Белая тьма нагрянула на землю, закачались леса, река взбурлила. И сыпал, вьюжился снег.

Кое-как успели загнать скотину, убрать кое-что со двора, кое-как успели дров побольше наносить в дом. А потом уже и носа из дому не показывали. Куда там — в такую раннюю да страшную

метель.

— К чему бы это? — недоумевал и тревожился дед Момун, растапливая печь. Он все прислушивался к свисту ветра, то и дело подходил к окну.

За окном быстро сгущалась крутящаяся снежная мгла.

— Да сядь ты на место! — ворчала бабка. — Первый раз такое, что ли? «К чему бы это?» — передразнила она. — К тому, что настала зима.

— Так уж и враз, в один день?

— А почему бы и нет? Спрашивать тебя будет? Надо ей, зиме, вот она и явилась.

В трубе завывало. Мальчик вначале оробел, да и замерз он, помогая деду по хозяйству; по вскоре дрова разгорелись, тепло стало, запахло в доме смолой горячей, дымком сосновым, и мальчик успокоился, угрелся.

Потом ужинали. Потом легли спать. А на дворе валил, крутился снег, ветер лютовал.

«В лесу, наверно, совсем страшно», — думал мальчик, прислушиваясь к звукам за окнами. Ему стало не по себе, когда вдруг стали доноситься какие-то смутные голоса, выкрики какие-то. Кто-то кого-то звал, кто-то откликался. Вначале мальчик решил, что ему показалось. Кто мог в такое время появиться на кордоне? Но и дед

Момун, и бабка насторожились.

— Люди, — сказала бабка.

— Да, — неуверенно отозвался старик.

А потом забеспокоился: откуда в такой час? И стал торопливо одеваться. И бабка заторопилась. Встала, лампу засветила. И мальчик, испугавшись чего-то, быстро оделся. Тем временем люди подошли к дому. Много голосов, и много ног. Скрипя наметенным снегом, пришельцы загремели подошвами по веранде, забарабанили в дверь.

— Аксакал, откройте! Замерзаем!

— Кто вы?

— Свои.

Момун открыл дверь. И вместе с клубами холода, ветра и снега в дом ввалились облепленные снегом те самые молодые шоферы, которые проезжали днем в урочище Арча за сеном. Мальчик сразу узнал их. И Кулубека в бушлате, подарившего ему военный значок. Одного они вели, поддерживая под руки, он стонал, волочил ногу. И в доме сразу поднялся переполох.

— Астапралла! (Астапралла — упаси, господи! — Прим. авт.) Что с вами? — в один голос запричитали дед Момун и бабка.

— Потом расскажем! Там идут еще наши, чело-

век семь. Как бы с дороги не сбились. А ну, садись сюда. Ногу подвернул, — быстро говорил Кулубек, усаживая стонущего парня на приступку у печи.

— Где ж они, ваши? — заторопился дед Момун. — Я сейчас пойду, приведу их. А ты беги, — сказал он мальчику. — Скажи Сейдахмату, чтобы он скорей с фонарем прибежал, электрическим.

Мальчик выскочил из дома и захлебнулся. До конца своей жизни он помнил эту грозную минуту. Какое-то косматое, холодное, свистящее чудовище схватило его за горло и начало трепать. Но он не дрогнул. Он вырывался из цепких лап и, защищая голову руками, бежал к дому Сейдахмата. Тут всего шагов двадцать-тридцать, а ему казалось, что он бежит далеко, сквозь бурю, как батыр на выручку своих воинов. Сердце его преисполнилось отвагой и решимостью. Он казался себе могучим и непобедимым; и пока добежал до дома Сейдахмата, успел совершить такие геройские подвиги, от которых дух захватывало. Он прыгал через пропасти с горы на гору, он разил мечом полчища врагов, он спасал горящих в огне и тонущих в реке, он гонялся на реактивном истребителе с развевающимся красным знаменем за косматым, черным чудовищем, убегающим от него по ущельям и скалам. Его реактивный

истребитель пулей летел за чудовищем. Мальчик строчил в него из пулемета и кричал: «Бей фашиста!» И везде при этом присутствовала Рогатая мать-олениха. Она была горда им. Когда мальчик подбегал уже к двери Сейдахматова дома, Рогатая мать—олениха сказала ему: «А теперь спаси сыновей моих, молодых шоферов!» — «Я спасу их. Рогатая мать-олениха, клянусь тебе!» — сказал мальчик вслух и забарабанил в двери.

— Скорее, дядя Сейдахмат, идемте спасать наших! — Он выпалил эти слова так, что и Сейдахмат и Гульджамал отпрянули в страхе.

— Кого спасать? Что случилось?

— Дедушка сказал, чтобы с фонарем бежать электрическим, шоферы из совхоза заблудились.

— Дурак! — обругал его Сейдахмат. — Так бы и сказал. — И кинулся собираться.

Но это нисколько не обидело мальчика. Откуда было знать Сейдахмату, какие подвиги он совершил, чтобы добраться к ним, какую клятву произнес. Не очень смутился мальчик и тогда, когда узнал, что семеро шоферов были встречены дедом Момуном и Сейдахматом сразу же возле кордона и приведены домой. Ведь могло случиться и не так! Опасность легка, когда опасность миновала… В общем, нашлись и эти люди.

Сейдахмат повел их к себе. Даже Орозкул пустил человек пять на ночевку — его тоже пришлось разбудить. А все остальные набились в дом к деду Момуну.

А метель в горах не утихала. Мальчик выбегал на веранду и через минуту уже не понимал, где право, где лево, где верх, где низ. Кружила, ярилась метельная ночь. Снегу навалило по колени.

И только теперь, когда все совхозные шоферы были найдены, когда они обогрелись, отошли от страха и холода, дед Момун осторожно выведал, что же случилось с ними, хотя и так было ясно, что застигла их непогода в пути. Ребята рассказывали, а старик и бабка вздыхали.

— Ой-ой-ой! — дивились они случившемуся и благодарили бога, прижимая руки к груди.

— А оделись вы, ребята, так легко, — упрекала бабка, разливая им горячий чай. — Разве можно приезжать в горы в такой одежонке? Дети вы, дети!.. Все красуетесь, на городских хотите походить. А если бы сбились с пути, да до утра, не приведи, господи, закоченели бы как ледышки.

— Кто же знал, что случится такое? — отвечал ей Кулубек. — Зачем нам тепло одеваться? Если что, так машины у нас обогреваются изнутри. Сиди себе, как дома. Крути баранку. В самолете

— вон он на какой высоте летит — эти горы сверху все равно, что холмики, за бортом мороз сорок градусов, а внутри люди в рубашках ходят…

Мальчик лежал на овчине между шоферов. Приткнулся возле Кулубека и во все уши слушал разговор взрослых. Никто не догадывался, что он даже рад был, что приключился вдруг такой буран, заставивший этих людей искать прибежища у них на кордоне. Втайне он очень хотел, чтобы не стихал буран много дней, — по крайней мере дня три. Пусть они живут у них. С ними так хорошо! Интересно. Дед, оказывается, всех знает. Не самих, так отцов и матерей.

— Ну вот, — чуть-чуть даже горделиво говорил дед внуку, — увидел своих братьев, бугинцев. Будешь знать теперь, какие они у тебя есть. Вон какие! Ох, и рослые пошли нынешние джигиты! Дай бог вам здоровья! Помню, в сорок втором году зимой привезли нас в Магнитогорск на строительство…

И дед принялся рассказывать хорошо известную мальчику историю, как выстроили их, трудармейцев, привезенных с разных концов страны, в длиннющий строй по ранжиру, и оказалось, что киргизы почти все в самом конце, малорослые. Устроили им перекличку, а потом

перекур. Подходит к ним какой-то верзила, рыжий и здоровенный. И громко так это:

— Откуда такие? Маньчжуры?

Среди них был старый учитель. Тот и ответил:

— Мы киргизы. А когда мы воевали с маньчжурами неподалеку отсюда, то Магнитогорска тогда и в помине не было. А ростом были мы такие, как ты. Вот кончим воевать и подрастем еще…

Дед вспомнил этот давнишний случай. Посмеиваясь, довольный, оглядел еще раз своих ночных гостей.

— Прав оказался тот учитель. В городе, когда бываю, или по дороге присматриваюсь: красивый, рослый народ пошел. Не то что в прежние времена…

Парни понимающе улыбались: любит старик побалагурить.

— Рослые-то мы рослые, — сказал один из них. — Да вот завалили машину в кювет. Сколько нас, а силенок не хватило…

— Ну, куда там! Груженная сеном, да при такой метели, — оправдывал их дед Момун. — Случается. Бог даст, завтра все уладится. Главное, чтобы ветер утих.

Парни рассказывали деду, как они приехали на верхний сенокос Арчи. Там стояли три большие

скирды горного сена. Начали грузиться сразу со всех трех скирд. Укладывали возы высоко, выше дома, так что сверху потом приходилось опускаться на арканах. И так нагружали машину за машиной. Кабин не видно, только ветровые стекла, капоты и колеса. Хотелось, раз уж приехали, вывезти все, чтобы не возвращаться. Знали, что если останется сено, то уже до следующего года. Работали споро. Тот, чья машина была готова, отгонял ее в сторону и помогал укладывать другую. Уложили почти все сено, осталось на два воза, не больше. Перекурили, договорились, кто за кем будет держаться, и все вместе выехали колонной. Осторожно ехали, чуть ли не ощупью спускались с гор. Сено — груз нетяжелый, но неудобный и даже опасный, особенно в узких местах и на крутых поворотах.

Ехали и не подозревали, что ждет их впереди.

Спустились с плоскогорья Арчи, потянулись ущельем, а на выходе из ущелья, под вечер уже, встретил их ураган, снег ударил.

— Такое началось, что спина сразу взмокла, — рассказывал Кулубек. — Сразу тьма, ветер такой, что баранку вырывает из рук. Боишься, вот-вот опрокинет машину. А тут еще дорога такая, что по ней и днем-то опасно…

Мальчик слушал затаив дыхание, замерев, не спуская сияющих глаз с Кулубека. Все тот же ветер, все тот же снег, о которых шла речь, бушевали за окном. Многие шоферы и грузчики уже спали вповалку на полу, одетые, в сапогах. И все то, что они пережили, теперь заново переживал этот головастый мальчишка с тонкой шеей и оттопыренными ушами.

Через несколько минут дорога стала невидимой. Машины, как слепцы за поводыря, держались одна за другую и все время сигналили, чтобы не отбиться в сторону. Снег шел стеной, залеплял фары, «дворники» не успевали счищать со стекол наледь. Пришлось ехать, высунувшись из кабин: но разве это езда? А снег все валил и валил… Колеса стали буксовать. Колонна остановилась перед крутым подъемом. Моторы бешено ревели — все бесполезно… Выскочили из кабин и на голос друг друга, перебежками от одной машины к другой, собрались в голове колонны. Как быть? Костер развести невозможно. Сидеть в кабинах — значит сжечь остаток горючего, которого и так едва-едва хватило бы теперь до совхоза. А не отапливать кабины — запросто можно замерзнуть. Растерялись ребята. Всесильная техника стояла бессильной. Что делать? Кто-то предложил вывалить из одной

машины сено и всем закопаться в нем. Но ясно было, что стоит только развязать воз, как от сена не останется и клочка: унесет буря — и глазом не успеешь моргнуть. А машины тем временем все больше заносило снегом, уже сугробы намело под колесами. Совсем растерялись ребята, заледенели на ветру.

— И вдруг вспомнил я, аксакал, — рассказывал Кулубек деду Момуну, — что встретил на дороге, когда ехали мы на Арчу, вот его, младшего брата-бугинца,

— указал он на мальчика и ласково погладил его по голове. — Бегал у дороги. Остановился я. Как же — поздоровался. Поговорили мы. Правда? Ты чего не спишь?

Мальчик, улыбаясь, кивнул головой. Но если бы знал кто, как горячо и гулко заколотилось его сердце от радости и гордости. Сам Кулубек говорил о нем. Самый сильный, самый смелый и самый красивый среди этих парней. Вот бы таким стать!

И дед похвалил его, подсовывая в огонь дрова:

— Он у пас такой. Любит слушать разговоры. Видишь, уши как развесил!

— И как я вспомнил о нем в ту минуту, сам не знаю! — продолжал Кулубек.

— И говорю ребятам, кричу почти, ветер глушит слова. «Давай, — говорю, — добираться до кордона. Иначе погибнем здесь». — «А как, — кричат мне ребята в лицо, — как добираться? Пешком не пойдем. И машины бросать нельзя». А я им: «Давай, — говорю, — выталкивать машины на гору, а там дорога идет на спуск. Нам бы только до Сан-Ташской пади, — говорю, — а там пешком доберемся к нашим лесникам, там недалеко». Поняли ребята. «Давай, — говорят, — командуй». Ну, раз такое дело… Начали с головной машины: «Осмоналы, залезай в кабину!» А все мы, сколько нас было, подперли машину плечом. И пошел! Сначала вроде двинулось дело. Потом выдохлись. А назад отступать нельзя. И чудилось, что не машину мы прем наверх, а целую гору. Воз-то какой

— скирда на колесах! И знаю только, что ору, сколько мочи есть: «Давай! Давай! Давай!» — но сам себя не слышу. Ветер, снег, не видать ничего. Машина воет, плачет, как живая. Из последних сил взбирается. И мы тут. И сердце, кажется, лопнет, разлетится на куски. В голове мутится…

— Ай-ай-ай! — сокрушался дед Момун. — Выпало же вам такое. Никак, сама Рогатая мать-олениха оберегла вас, детей своих. Вызволила. А не то,

кто знает… Слышишь? И не утихает на дворе, все крутит, метет…

Глаза мальчика слипались. Он заставлял себя не спать, а веки снова слипались. И в полусне, слушая урывками разговор старика и Кулубека, мальчик путал явь с воображаемыми картинами. Ему казалось, что он тоже там, среди этих молодых парней, застигнутых бураном в горах. Перед его взором крутая дорога, восходящая на белую-белую, заснеженную гору. Метель жгла щеки. Глаза резало. Они толкали вверх огромную, с дом, автомашину с сеном. Медленно, очень медленно поднимались они по дороге. А грузовик уже не идет — сдает, пятится. Так страшно. Так темно. Ветер такой жгучий. Мальчик от страха сжимался, боясь, что машина сорвется и раздавит их. Но тут откуда-то появилась Рогатая мать-олениха. Она уперлась рогами в машину, стала помогать им, толкать ее наверх. «Давай, давай, давай!» — закричал мальчик. И машина пошла, пошла. Вылезли на гору, и машина поехала вниз сама. А они тащили наверх вторую, а потом третью и еще много машин. И всякий раз им помогала Рогатая мать-олениха. Ее никто не видел. Никто не знал, что она рядом с ними. А мальчик видел и знал. Он видел всякий раз, когда становилось

невмоготу, когда становилось страшно, что сил не хватит, подбегала Рогатая мать-олениха и рогами помогала им выкатить машину наверх. «Давай, давай, давай!» — подхватывал мальчик. И все время он был рядом с Кулубеком. Потом Кулубек сказал ему: «Садись за руль». Мальчик сел в кабину. Машина дрожала и гудела. И руль крутился в руках сам по себе, свободно, как обруч с бочки, с которым он играл в автомобиль — еще малышом. Стыд испытывал мальчик, что руль у него оказался такой, игрушечный. И вдруг машина стала крениться, падать набок. И упала с грохотом, и разбилась. Мальчик громко заплакал. Очень стыдно стало. Стыдно было смотреть в глаза Кулубека.

— Ты чего? Ты чего, а? — разбудил его Кулубек. Мальчик открыл глаза. И обрадовался, что все это оказалось сном. А Кулубек поднял его на руки, прижал к себе.

— Приснилось? Испугался? Эх ты, а еще герой! — Он поцеловал мальчика жесткими, обветренными губами. — Ну, давай я тебя уложу, спать надо.

Он уложил мальчика на полу, на кошме, между спящих шоферов, и сам лег рядом с ним, придвинул его поближе к себе, под бок, и прикрылся

полой бушлата.

Рано утром мальчика разбудил дед.

— Проснись, — тихо сказал старик. — Оденься потеплее. Поможешь мне. Вставай.

За окном мутно просвечивал утренний полумрак. В доме все еще спали вповалку.

— На, обуй валенки, — сказал дед Момун.

От деда пахло свежим сеном. Значит, он уже задал корм лошадям. Мальчик влез в валенки, и они с дедом вышли во двор. Снегу намело изрядно. Но ветер поутих. Изредка только пошевеливалась поземка.

— Холодно! — вздрогнул мальчик.

— Ничего. Вроде развидняется, — пробурчал старик. — Надо же! С первого раза как закрутило. Ну да ладно, лишь бы бедой не обернулось…

Они вошли в хлев, где стояли пять момуновских овец. Старик нашарил на столбе фонарь, зажег его. Овцы оглянулись в углу, заперхали.

— Держи, будешь мне светить, — сказал старик мальчику, передав ему фонарь. — Зарежем черную ярку. Гостей полон дом. Пока встанут, мясо чтобы было у нас готово.

Мальчик светил фонарем деду. Еще посвистывал ветер в щелях, еще холодно и сумрачно было на дворе. Старик вначале бросил у входа охапку

чистого сена. Привел на это место черную ярку и, прежде чем повалить ее, связать ноги, призадумался, присел на корточки.

— Поставь фонарь. Садись и ты, — сказал он мальчику.

А сам зашептал, раскрыв ладони перед собой:

— О великая прародительница наша, Рогатая мать-олениха. Приношу тебе в жертву черную овцу. За спасение детей наших в час опасный. За белое молоко твое, которым ты вскормила наших предков, за доброе сердце твое, за материнское око. Не покидай нас на перевалах, па бурных реках, на скользких тропах. Не покидай нас вовеки на нашей земле, мы твои дети. Аминь!

Он молитвенно провел ладонями по лицу, вниз от лба к подбородку. Мальчик сделал то же. И тогда дед повалил овцу на землю, связал ей ноги. Вынул из ножен свой старый азиатский нож.

А мальчик светил ему фонарем.

Погода утихомирилась наконец. Раза два испуганно проглянуло солнце сквозь разрывы бегущих туч. Кругом лежали следы прошлой бурной ночи: сугробы вкривь и вкось, смятые кусты, согнувшиеся в дугу от тяжести снега молодые деревца, поваленные старые деревья. Лес за рекой стоял молчаливый, тихий, какой-то подавлен-

ный, И сама река точно бы ушла ниже, берега ее наросли снегом, стали круче. Вода шумела тише.

Солнце оставалось неустойчивым — то проглянет, то скроется.

Но ничто не омрачало и не тревожило душу мальчика. Тревоги прошлой ночи забылись, буран забылся, а снег ему не мешал — так даже интересней. Носился туда-сюда, только комья летели из-под ног. Ему было весело оттого, что в доме полно народу, оттого, что парни выспались, громко говорили, смеялись, оттого, что с аппетитом ели сваренную для них баранину.

Тем временем и солнце стало налаживаться. Чище и дольше светило. Тучи понемногу рассеивались. И даже потеплело. Неурочный снег стал быстро оседать, особенно на дороге и тропах.

Правда, мальчик заволновался, когда шоферы и грузчики стали собираться в дорогу. Вышли все во двор, попрощались с хозяевами кордона, поблагодарили за кров и хлеб. Их провожали на лошадях дед Момун и Сейдахмат. Дед вез вязанку дров, а Сейдахмат — большой оцинкованный бак, чтобы греть воду для застывших моторов.

Все двинулись со двора.

— А та, и я пойду, возьми меня, — подбежал мальчик к деду.

— Ты же видишь, я везу дрова, а Сейдахмат везет бак. Некому тебя взять. И зачем тебе туда? Устанешь ходить по снегу.

Мальчик обиделся. Надулся. И тогда его взял с собой Кулубек.

— Пошли с нами, — сказал он и взял его за руку. — Назад поедешь с дедом.

И они пошли на развилку — туда, куда спускалась дорога с сенокоса Арча. Снегу лежало еще порядочно. Не так просто оказалось поспевать в шаг с этими крепкими парнями. Мальчик стал уставать.

— Ну-ка, давай садись ко мне на спину, — предложил Кулубек. Он ловко взял мальчика за руку и ловко вскинул его к себе за плечи. И понес так привычно, словно каждый день носил его на спине.

— Здорово это получается у тебя, Кулубек, — сказал шофер, идущий рядом.

— А я всю жизнь братьев и сестер носил, — похвалился Кулубек. — Я ведь старший, а нас было шестеро, мать на работе в поле, отец тоже. А теперь у сестер уж дети. Вернулся из армии, холостой, на работу еще не поступал. А сестренка — та, что старшая, — «Приезжай, — говорит, — к нам, живи, у нас, ты так хорошо нянчишь де-

тей». — «Ну, нет, — говорю ей, — хватит! Я теперь своих буду носить...»

Так они шли, поговаривая о разном. Хорошо и покойно было мальчику ехать на крепкой спине Кулубека.

«Вот был бы у меня такой брат! — мечтал он. — Я бы никого не боялся. Попробовал бы Орозкул накричать на деда или тронуть кого, сразу притих бы, если б Кулубек глянул на него построже».

Машины с сеном, оставленные вчерашней ночью, стояли километрах в двух выше развилки. Занесенные снегом, они походили на зимние стога в поле. Казалось, никто и никак не сдвинет их с места.

Но вот разложили костер. Нагрели воду. Стали заводить мотор заводной ручкой, и мотор ожил, зачихал, заработал. А дальше дело пошло быстрей. Каждую следующую машину заводили с буксира. Каждая заведенная, разогретая машина тащила затем ту, которая стояла за ней в колонне.

Когда все грузовики заработали, подняли двойным буксиром ту машину, которая завалилась ночью в кювет. Все, кто был, помогали ей вылезть на дорогу. И мальчик тоже примостился с краешка, тоже помогал. Он все время опасался,

что кто-нибудь скажет: «А ты чего путаешься под ногами? А ну, беги отсюда!» Но никто не сказал этих слов, никто не прогнал его. Может быть, потому, что Кулубек разрешил ему помогать. А од здесь самый сильный, и его все уважают.

Шоферы еще раз попрощались. Машины тронулись. Сначала медленно, потом быстрей. И потянулись караваном по дороге среди заснеженных гор. Уехали сыновья сыновей Рогатой матери-оленихи. Они не знали, что волей детского воображения впереди них по дороге невидимо бежала Рогатая мать-олениха. Длинными, стремительными прыжками неслась она впереди автоколонны.

Она охраняла их от бед и несчастий на трудном пути. От обвалов, от снежных лавин, от пурги, от тумана и прочих невзгод, от которых за многие века кочевой жизни киргизы натерпелись столько бед. Разве не об этом просил дед Момун Рогатую мать-олениху, принося ей в жертву черную овцу на рассвете?

Уехали. А мальчик тоже уезжал вместе с ними. Мысленно. Он сидел в кабине рядом с Кулубеком: «Дядя Кулубек, — говорил он ему. — А впереди нас бежит по дороге Рогатая мать-олениха». — «Да ну?» — «Правда. Честное слово. Вот она!»

— Ну, ты чего задумался? Что стоишь? — заставит его очнуться дед Момун.

— Садись, домой пора. — Он наклонился с лошади, поднял мальчика на седло. — Тебе холодно? — сказал старик и потеплей укутал внука полами шубы.

Мальчик тогда еще не ходил в школу.

А теперь, просыпаясь по временам от тяжелого сна, он с беспокойством думал: «Как же я пойду завтра в школу? Ведь я заболел, мне так плохо...» Потом он забывался. Ему казалось, что он переписывает в тетрадь слова, написанные учительницей на доске: «Ат. Ата. Така» (Ат, ата, така — лошадь, отец, подкова. — Прим. авт.). Этими письменами первоклассника он заполнял всю тетрадь, страницу за страницей. «Ат. Ата. Така. Ат. Ата. Така». Он уставал, в глазах рябило, и становилось жарко, очень жарко, мальчик открывался. А когда лежал открытым и мерз, опять посещали его разные видения. То он плавал рыбой в студеной реке, плыл к белому пароходу и никак не мог доплыть. То попадал в снежную метель. В дымном, холодном вихре буксовали автомашины с сеном на крутой дороге в гору. Машины рыдали, как рыдают люди, и все буксовали на месте. Колеса, бешено вращаясь, становились огнен-

но-красными. Колеса горели, пламя шло от них. Упираясь рогами в кузов, Рогатая мать-олениха выкатывала машину с возом сена на гору. Мальчик помогал ей, старался изо всех сил. Обливался горячим потом. И вдруг воз сена превратился в детскую колыбель. Рогатая мать-олениха сказала мальчику: «Побежали быстрей, отнесем бешик тетке Бекей и дяде Орозкулу». И они пустились бежать. Мальчик отстал. Но впереди, в темноте, все звенел и звенел колыбельный колокольчик. Мальчик бежал на его зов.

Он проснулся, когда послышались шаги на веранде и скрипнула дверь. Дед Момун и бабка вернулись, как будто немного успокоенные. Приезд посторонних на кордон, видимо, заставил Орозкула и тетку Бекей приутихнуть. А может быть, Орозкул устал пьянствовать и уснул наконец. На дворе не слышно было ни криков, ни ругани.

Около полуночи луна встала над горами. Она зависла туманным диском над самой высокой ледяной вершиной. Гора, окованная вечным льдом, высилась во мраке, призрачно поблескивая неровными гранями. А вокруг в полном безмолвии пребывали горы, скалы, черные и неподвижные леса, и в самом низу билась и шу-

мела река на камнях.

В окно косым потоком падал неверный свет луны. Этот свет мешал мальчику. Он ворочался, жмурил глаза. Хотел попросить бабку, чтобы она занавесила окно. Но не стал: бабка была сердита на деда.

— Дурак, — шептала она, ложась спать. — Если не знаешь, как жить с людьми, то хоть бы уж помалкивал. Слушался бы других. Ты же у него в руках. Жалованье идет тебе от него, пусть грошовое. Зато каждый месяц. А без жалованья — кто ты есть? Стар, а ума не нажил…

Старик не отвечал. Бабка умолкла. Потом вдруг неожиданно громко сказала:

— Если у человека отбирают жалованье, он уже не человек. Он никто.

И опять старик ничего не ответил.

А мальчик не мог уснуть. Голова болела, и мысли мешались. О школе думал

— тревожился. Он еще ни разу не пропустил ни одного дня и теперь не представлял себе, как быть, если завтра не сможет поехать в свою школу в Джелесае. Думал мальчик и о том, что если Орозкул выгонит деда с работы, то бабка житья не даст старику. Как им быть тогда?

Почему люди так живут? Почему одни злые,

другие добрые? Почему есть счастливые и несчастливые? Почему есть такие, которых все боятся, и такие, которых никто не боится? Почему у одних есть дети, у других нет? Почему одни люди могут не выдавать жалованье другим? Наверное, самые лучшие люди те, которые получают самое большое жалованье. А вот дед получает мало, и его все обижают. Эх, как бы сделать, чтобы деду тоже дали побольше жалованья! Может быть, тогда и Орозкул начал бы уважать деда.

От этих мыслей голова мальчика разбаливалась все больше. Опять вспомнил он про маралов, виденных под вечер у брода за рекой. Как-то им там ночью? Одни ведь они в холодных и каменных горах, в черном, непроглядном лесу. Страшно ведь очень. А вдруг волки нападут, что тогда? Кто принесет тетке Бекей волшебную колыбель на рогах?

Он заснул тревожным сном и, засыпая, умолял Рогатую мать-олениху принести березовый бешик для Орозкула и тетки Бекей. «Пусть будут у них дети, пусть будут у них дети!» — заклинал он Рогатую мать-олениху. И слышал отдаленный звон колыбельного колокольчика. Спешила Рогатая мать-олениха, подцепив на рога волшебную колыбель…

VII

Рано утром мальчик проснулся от прикосновения руки. Рука деда была холодная, с улицы. Мальчик невольно поежился…

— Лежи, лежи. — Дед согрел руки дыханием, пощупал его лоб, потом положил ладонь на грудь, на живот. — Да ты, никак, занемог, — огорчился дед.

— Жар у тебя. А я думаю, что он лежит? В школу пора.

— Я сейчас, я встану, — приподнял голову мальчик, и все закружилось у него перед глазами, и в ушах зашумело.

— И не думай вставать. — Дед уложил мальчика на подушку. — Кто повезет тебя в школу больного? Ну-ка, покажи язык.

Мальчик попытался настоять на своем:

— Учительница заругает. Очень не любит она, кто пропускает школу…

— Не заругает. Я сам скажу. Ну-ка, давай покажи язык.

Дед внимательно осмотрел язык и горло мальчика. Долго искал пульс: задубелые от грубой

работы, жесткие пальцы деда каким-то чудом улавливали толчки сердца в горячей, потной руке мальчика. Убедившись в чем-то, старик успокаивающе произнес:

— Бог милостив. Ты просто озяб немного. Холод вошел в тебя. Ты сегодня полежи в постели, а перед сном я натру тебе ступни и грудь горячим курдючным жиром. Пропотеешь — и, бог даст, встанешь утром как дикий кулан.

Вспомнив о вчерашнем и о том, что еще ждет его, старика, Момун помрачнел, сидя в постели внука, вздохнул и призадумался. «Бог с ним», — прошептал со вздохом.

— Это когда же ты заболел? Что ж ты молчал? — обратился он к мальчику.

— Вечером, что ли?

— Да под вечер. Когда увидел маралов за рекой. Я прибежал к тебе. А потом мне стало холодно. Старик сказал почему-то виноватым голосом:

— Ну, ладно… Ты лежи, а я пойду.

Он поднялся, но мальчик задержал его:

— Ата, а там сама Рогатая мать-олениха, да? Та, что белая, как молоко, глаза вот такие, смотрит как человек…

— Дурачок ты, — осторожно улыбнулся старик Момун. — Ну, пусть будет по-твоему. Может, то и

она, — сказал он глухо, — пречудная мать-олениха, кто знает?.. Я вот думаю…

Старик не договорил. В дверях появилась бабка. Она спешила со двора, она уже что-то разведала.

— Иди, старик, туда, — с порога заговорила бабка. Дед Момун сразу сник при этом, стал жалким, пришибленным. — Там они хотят выволочь бревно из реки машиной, — говорила бабка. — Так ты иди, делай все, что прикажут… Ох ты, боже мой, молоко-то еще не кипяченное! — спохватилась бабка и принялась разжигать плиту, греметь посудой.

Старик хмурился. Хотелось ему что-то возразить, что-то сказать. Но бабка не дала ему рта раскрыть.

— Ну ты чего уставился? — возмутилась бабка. — Чего артачишься? Не нам с тобой артачиться, горе ты мое. Ну кто ты есть такой против них? К Орозкулу вон люди приехали какие. Машина у них какая. Нагрузишь, так десять бревен увезет по горам. А Орозкул на нас и не глядит даже. Как я ни уговаривала, как ни унижалась. Дочь твою не пустил на порог. Сидит она, неродиха твоя, у Сейдахмата. Глаза повыплакала. И проклинает она тебя — отца своего безмозглого…

— Ну, хватит, — не стерпел старик и, направ-

ляясь к двери, сказал: — Молока дай горячего, заболел вон мальчонка.

— Дам, дам молока горячего, иди, иди, ради бога. — И, выпроводив старика, она еще бурчала: — И чего на него нашло такое? Никогда никому не перечил, тише воды, ниже травы был — и на тебе вдруг! Да еще на коня орозкуловского вскочил, да еще поскакал. И все это из-за тебя, — стрельнула она злым взглядом в сторону мальчика. — Было бы за кого на рожон лезть…

Потом она принесла мальчику горячего молока с желтым топленым маслом. Молоко обжигало губы. А бабка настаивала, принуждала:

— Пей, пей, погорячее, не бойся. Простуду только горячим выгонишь.

Мальчик обжигался, слезы выступили у него на глазах. И бабка вдруг подобрела:

— Ну, остуди, остуди немного… И надо же, приболел ты у нас в такое время! — вздохнула она.

Мальчику давно уже не терпелось помочиться. Он встал, чувствуя во всем теле какую-то странную, сладкую слабость. Но бабка упредила:

— Постой, я сейчас принесу тебе тазик.

Неловко отвернувшись, мальчик заструил в тазик, удивляясь тому, что моча такая желтая и горячая.

Он чувствовал себя гораздо легче. Голова болела меньше.

Мальчик лежал в постели спокойно, благодарный бабке за ее услугу, и думал, что надо к утру выздороветь и обязательно отправиться в школу. Он думал еще о том, как он расскажет в школе о трех маралах, появившихся у них в лесу, о том, что белая матка маралья — это и есть сама Рогатая мать-олениха, что с ней телок, большой уже и крепкий, и с ними здоровенный бурый марал с огромными рогами, что он сильный и охраняет от волков Рогатую мать-олениху и ее детеныша. И думал, что он расскажет еще о том, что если маралы останутся у них и никуда не уйдут, то Рогатая мать-олениха скоро принесет дяде Орозкулу и тетке Бекей волшебную колыбель.

А маралы спустились утром к воде. Они вышли из верхнего леса, когда короткое осеннее солнце наполовину поднялось над горной грядой. Чем выше поднималось солнце, тем светлей и теплей становилось внизу среди гор. После ночного оцепенения лес оживал, наполнялся движением света и красок.

Пробираясь между деревьями, маралы шли не торопясь, греясь на солнечных полянках, пощипывая росную листву с веток. Они шли в том

же порядке — впереди самец-рогач, посредине телок и последней — крутобокая матка. Рогатая мать-олениха. Маралы шли по той же тропе, по которой вчера Орозкул с дедом Момуном спускали к реке злополучное сосновое бревно. След волока оставался на горном черноземе еще свежей, пропаханной бороздой с рваными клочьями дерна. Тропа эта выводила к броду, где было оставлено засевшее на речном пороге бревно.

Маралы направлялись к этому месту, потому что оно удобно для водопоя. Орозкул, Сейдахмат и двое людей, прибывших за лесом, шли сюда с тем, чтобы посмотреть, как лучше подогнать машину, чтобы, подцепив трос, выволочь бревно из реки. Дед Момун неуверенно шел позади всех, понурив голову. Он не знал, как ему быть после вчерашнего скандала, как вести себя, что делать. Допустит ли Орозкул его к работе? Не прогонит ли, как вчера, когда он хотел на коне вытащить бревно? А что, если скажет: «А тебе что здесь? Сказано ведь, что ты уволен с работы!» Что, если обругает при людях и отправит домой? Сомнения одолевали старика, он шел, как на пытку, и все же шел. Сзади следовала бабка. Она шла вроде бы сама по себе, вроде бы из любопытства. Но, по сути, она конвоировала старика. Она гнала Расто-

ропного Момуна на примирение с Орозкулом, на то, чтобы он заслужил у Орозкула прощение.

Орозкул ступал важно, по-хозяйски. Шел, отдуваясь, посапывая, и строго поглядывал по сторонам. И хоть болела с перепоя голова, он испытывал мстительное удовлетворение. Оглянувшись, он увидел, как семенил следом дед Момун, точно преданная собака, побитая хозяином. «Ничего, ты еще у меня не то запоешь. Я теперь на тебя и не гляну. Ты для меня пустое место. Ты еще сам повалишься мне в ноги», — злорадствовал Орозкул, вспоминая, как истошным криком орала прошлой ночью у его ног жена, когда он пинал ее, когда гнал ее пинками с порога. «Пусть! Вот отправлю этих с бревнами, я их еще сведу, пусть погрызутся. Теперь она отцу глаза повыдерет. Озверела, как волчица», — думал Орозкул в промежутках разговора на ходу с приезжим человеком.

Человека этого звали Кокетай. То был дюжий черный мужик, колхозный счетовод с приозерья. С Орозкулом он давно вел дружбу. Лет двенадцать тому назад построил Кокетай себе дом. Орозкул помог лесом. Продал по дешевке кругляки на распиловку досок. Потом мужик женил старшего сына, поставил и молодым дом. И тоже Орозкул

снабдил его бревнами. Теперь Кокетай отделял младшего сына, и опять потребовалось лесу на стройку. И опять старый друг Орозкул выручал. Беда, как трудна жизнь! Одно сделаешь — ну, думаешь, теперь спокойно поживу. АН жизнь еще что-нибудь придумает. И без таких людей, как Орозкул, теперь не обойдешься…

— Бог даст, на новоселье пригласим вскоре. Приезжай, погуляем на славу,

— говорил Кокетай Орозкулу.

Тот пыхтел самодовольно, папиросой дымил:

— Спасибо. Когда зовут — не отказываемся, а не зовут — не напрашиваемся. Позовешь, так приеду. Не впервой мне у тебя гостить. Я вот думаю сейчас: а не подождать ли тебе вечера, чтобы по темноте выехать? Главное, через совхоз незамеченным проехать. А не то, если засекут…

— Оно-то верно, — заколебался Кокетай. — Да долго ждать до вечера. Выедем потихоньку. Поста ведь нет на дороге, чтобы проверить нас?.. Случайно если наткнешься на милицию или на кого еще…

— То-то и оно! — пробурчал Орозкул, морщась от изжоги и головной боли.

— Сто лет ездишь по делам, и ни одна собака по дороге не встретится, а лес повезешь раз в сто лет

— и влипнешь. Это всегда так…

Они замолчали, каждый думал о своем. Орозкул крепко досадовал теперь, что пришлось вчера бросить бревно в реке. А не то, был бы лес готов, погрузили бы его еще ночью и на рассвете отправил бы машину с глаз долой… Эх, и угораздило же вчера случиться такому делу! Это все старый дурень Момун, бунтовать решил, из-под власти хотел выйти, из подчинения. Ну ладно же! Что-что, а это тебе не пройдет так просто…

Маралы пили воду, когда люди пришли к реке на противоположный берег. Странные существа эти люди — суетливые, шумливые. Занятые своими делами и разговорами, они и не замечали животных, стоящих напротив, через реку.

Маралы стояли в красных утренних кустах речного тугая, войдя по щиколотку в воду, на чистом галечнике прибрежной отмели. Пили они небольшими глотками, не торопясь, с перерывами. Вода была ледяная. А солнце пригревало сверху все горячей и приятней. Утоляя жажду, маралы наслаждались солнцем. На спинах высыхала упавшая с веток по пути обильная роса. Легкий дымок курился со спин маралов. Покойное и благостное было утро того дня.

А люди так и не замечали маралов. Один че-

ловек вернулся к машине, другие остались на берегу. Пошевеливая ушами, маралы чутко улавливали доносившиеся до них изредка голоса и замерли, вздрогнув кожей, когда на том берегу появилась автомашина с прицепом. Машина гремела, рокотала. Маралы шевельнулись, решили уйти. По машина вдруг остановилась, перестала греметь и гудеть. Животные помедлили, потом все же осторожно двинулись с места — люди на том берегу слишком громко говорили и слишком суетливо двигались.

Маралы тихонько пошли тропкой в мелком тугае, их спины и рога то и дело показывались среди кустов. А люди так и не замечали их. И лишь когда маралы стали пересекать открытую прогалину сухого паводкового песка, люди увидели их как на ладони. На сиреневом песке, в ярком солнечном освещении. И застыли с разинутыми ртами, в разных позах.

— Смотри, смотри, что такое! — первым вскрикнул Сейдахмат. — Олени! Откуда они здесь?

— Что кричишь, что шумишь? Какие тебе олени, маралы это. Мы их вчера еще видели, — небрежно изрек Орозкул. — Откуда они? Пришли, стало быть.

— Пай, пай, пай! — восхищался дюжий Коке-

тай п от возбуждения расстегнул душивший его ворот рубашки. — А гладкие какие, — восхитился он, — отъелись…

— А матка-то какая! Смотри, как ступает, — вторил ему шофер, вытаращив глаза. — Ей-богу, с кобылицу-двухлетку. Первый раз вижу.

— А бык-то! Рожища-то смотри! Как только он их носит! И не боятся ничего. Откуда они такие, Орозкул? — допытывался Кокетай, с вожделением поблескивая свиными глазками.

— Заповедные, видать, — ответил Орозкул важно, с чувством хозяйского достоинства. — Из-за перевала пришли, с той стороны. А не боятся? Непуганые, вот и не боятся.

— Эх, ружье бы сейчас! — ляпнул вдруг Сейдахмат. — Мяса центнера на два потянет, а?

Момун, до сих пор робко стоявший в стороне, не утерпел:

— Да что ты, Сейдахмат. Охота на них запрещена, — сказал он негромко.

Орозкул искоса метнул на старика хмурый взгляд. «Ты еще у меня тут голос подаешь!» — подумал он с ненавистью. Хотел обругать его так, чтобы наповал убить, но сдержался. Все же посторонние присутствовали.

— Нечего попусту поучать, — раздраженно

проговорил он, не глядя на Момуна. — Запрещена охота там, где они водятся. А у нас они не водятся. И мы за них не отвечаем. Ясно? — грозно глянул он на растерявшегося старика.

— Ясно, — покорно ответил Момун и, опустив голову, отошел в сторону.

Тут бабка еще раз украдкой дернула его за рукав.

— Ты бы уж молчал, — прошипела она укоризненно. Все как-то пристыженно потупились. Снова принялись смотреть вслед уходящим по крутой тропинке животным. Маралы поднимались на обрыв гуськом. Впереди бурый самец, горделиво неся свои мощные рога, за ним комолый телок, и замыкала это шествие Рогатая мать-олениха. На фоне чистого глинистого сброса маралы выглядели четко и грациозно. Каждое их движение, каждый шаг их были на виду.

— Эх, красота какая! — не удержался от восторга шофер, лупоглазый молодой парень, очень смирный с виду. — Жаль, что не захватил фотоаппарата, вот было бы…

— Ну, ладно, красота, — недовольно перебил его Орозкул. — Нечего стоять. Красотой сыт не будешь. Давай подгони машину задом к берегу, прямо в воду, с краю чтобы. А ты, Сейдахмат,

разувайся, — распорядился он, упиваясь в душе своей властью. — И ты, — указал он шоферу. — И давайте цепляйте трос к бревну. Да поживей. Дело еще будет.

Сейдахмат принялся стаскивать с ног сапоги. Они ему были тесноваты.

— Что смотришь, помоги ему, — тычком незаметным толкнула старика бабка.

— И разувайся, сам лезь в воду, — подсказывала она злобным шепотком.

Дед Момун кинулся стаскивать сапоги с Сейдахмата и сам быстренько разулся. Тем временем Орозкул с Кокетаем командовали машиной:

— Давай сюда, сюда давай.

— Левее немного, левее. Вот так.

— Еще немножко.

Заслышав внизу непривычный шум машины, маралы на тропе убыстряли шаг. Тревожно оглядываясь, выскочили на обрыв и скрылись в березах.

— О, исчезли! — спохватился Кокетай. Он воскликнул это с сожалением, точно из рук добыча ушла.

— Ничего, никуда они не денутся! — отгадывая его мысли и довольный этим, хвастался Орозкул. — Сегодня до вечера не уедешь, будешь

моим гостем. Сам бог велит. Попотчую я тебя на славу. — И, хохотнув, хлопнул друга по плечу. Орозкул мог быть и веселым.

— Ну, коли так, как велишь, — ты хозяин, я гость, — покорился дюжий Кокетай, обнажая в улыбке могучие желтые зубы.

Машина стояла уже на берегу, задними колесами в воде, в полколеса. Глубже заехать шофер не рискнул. Теперь предстояло протащить трос к бревну. Если хватит длины троса, то выволочь бревно из плена подводных камней труда особого не составляло.

Трос был стальной — длинный и тяжелый. Надо было тащить его по воде к бревну. Шофер разувался неохотно, с опаской поглядывал на воду. Он еще не решил окончательно: стоит ли лезть в реку в сапогах или лучше будет разувшись. «И пожалуй, лучше босиком, — думал он. — Все равно вода зальется за голенища. Глубина вон какая, почти до бедра. А потом ходи весь день в мокрой обуви». Но он также представлял себе и то, какая, должно быть, холодная сейчас вода в реке. Этим и воспользовался дед Момун.

— Ты не разувайся, сынок, — подскочил он к нему. — Мы пойдем с Сейдахматом.

— Да не стоит, аксакал, — возразил, смутив-

шись, шофер.

— Ты гость, а мы здешние, ты садись за руль, — уговорил его дед Момун.

И когда они с Сейдахматом, продев кол в моток стального троса, потащили его по воде, Сейдахмат возопил благим матом:

— Ай, ай, лед, а не вода!

Орозкул с Кокетаем посмеивались снисходительно, подбадривали его:

— Терпи, терпи! Найдем чем согреть тебя! А дед Момун не издал ни звука. Он даже не почувствовал леденящего холода. Вобрав голову в плечи, чтобы стать незаметнее, шел босыми ногами по скользким подводным камням, моля бога лишь об одном, чтобы Орозкул не вернул его, чтобы не прогнал, чтобы не обругал при людях, чтобы простил его, глупого, несчастного старика…

И Орозкул ничего не сказал. Он вроде бы и не заметил усердия Момуна, не считая его за человека. А в душе торжествовал, что все же сломил взбунтовавшегося старика. «Так-то, — ехидно посмеивался Орозкул про себя. — Приполз, упал мне в ноги. Ух, нет у меня большей власти, не таких бы крутил в бараний рог! Не таких заставил бы ползать в пыли. Дали бы мне хотя бы колхоз или совхоз. Я бы уж порядок навел. Распустили народ.

А сами теперь жалются: председателя, мол, не уважают, директора не уважают. Какой-нибудь чабан, а говорит с начальством, как ровня. Дураки, власти недостойные! Разве же с ними так надо обращаться? Было ведь времечко, головы летели — и никто ни звука. Вот это было — да! А что теперь? Самый никудышный из никудышных и тот вон вздумал вдруг перечить. Ну-ну, поползай у меня, поползай», — злорадствовал Орозкул, поглядывая изредка в сторону Момуна.

А тот, бредя по ледяной воде, скорчившись, тащил трос вместе с Сейдахматом и довольствовался тем, что Орозкул, кажется, простил его. «Ты уж прости меня, старого, что так получилось, — мысленно обращался он к Орозкулу. — Не утерпел вчера. Поскакал к внуку в школу. Одинокий ведь он, вот и жалеешь. А сегодня он в школу не пошел. Приболел что-то. Забудь, прости. Ты ведь мне тоже не чужой. Думаешь, не хочу я счастья тебе и дочери? Если бы бог дал, если бы услышал я крик новорожденного жены твоей, моей дочери, — не сойти мне с места, пусть бог тут же возьмет мою душу. Клянусь, от счастья плакал бы. Только ты не обижай мою дочь, прости меня. А работать

— так пока я на ногах, я все сработаю. Все сделаю. Ты только скажи...»

Стоя в сторонке на берегу, бабка жестами и всем видом своим говорила старику: «Старайся, старик! Видишь, он простил тебя. Делай, как я тебе говорю, и все уладится».

Мальчик спал. Один раз только он проснулся, когда где-то прогрохотал выстрел. И снова уснул. Измученный вчерашней бессонницей и болезнью, сегодня он спал глубоким и спокойным сном. И во сне он чувствовал, как приятно лежать в постели, свободно вытянувшись, не испытывая ни жара, ни озноба. Он проспал бы, наверно, очень долго, если бы не бабка с теткой Бекей. Они старались говорить вполголоса, но загремели посудой, и мальчик проснулся.

— Держи вот большую чашку. И блюдо возьми, — оживленно шептала бабка в передней комнате. — А я понесу ведро и сито. Ох, поясница моя! Замаялась. Столько работы сделали. Но, слава богу, я так рада.

— Ой, не говори, энеке, и я так рада. Вчера умереть готова была. Если бы не Гульджамал, наложила бы руки на себя.

— Скажешь еще, — урезонила бабка. — Перцу взяла? Пошли. Сам бог послал дар свой на примирение ваше. Пошли, пошли.

Выходя из дома, уже на пороге, тетка Бекей

спросила бабку про мальчика:

— А он все спит?

— Пусть поспит пока, — ответила бабка. — Как будет готово, принесем ему шурпы погорячей.

Мальчик больше не уснул. Со двора слышались шаги и голоса. Тетка Бекей смеялась, и Гульджамал и бабка смеялись в ответ ей. Доносились и какие-то незнакомые голоса. «Это, наверно, те люди, которые приехали ночью, — решил мальчик. — Значит, они еще не уехали». Не слышно, не видно было только деда Момуна. Где он? Чем занят?

Прислушиваясь к голосам снаружи, мальчик ждал деда. Ему очень хотелось поговорить с ним о маралах, которых он видел вчера. Скоро ведь зима. Надо бы им сена побольше оставить в лесу. Пусть едят. Надо их так приручить, чтобы они совсем не боялись людей, а приходили бы прямо через реку сюда, во двор. И здесь им давать что-нибудь такое, что они больше всего любят. Интересно, что они любят больше всего? Телка-мараленка приучить бы, чтобы везде ходил следом. Вот здорово было бы. Может быть, он и в школу ходил бы с ним?..

Мальчик ждал деда, но тот не появлялся. А пришел вдруг Сейдахмат. Очень довольный чем-то.

Веселый. Сейдахмат покачивался, улыбаясь сам себе. И когда он подошел ближе, в нос ударил спиртной запах. Мальчик очень не любил этот дурной, резкий запах, напоминавший о самодурстве Орозкула, о страданиях деда и тетки Бекей. Но, в отличие от Орозкула, Сейдахмат, когда напивался, добрел, веселел и вообще становился какой-то безобидно глуповатый, хотя он и трезвый-то не отличался умом. Между ним и дедом Момуном происходил в подобных случаях примерно такой разговор:

— Что усмехаешься, как дурачок, Сейдахмат? И ты надрался?

— Аксакал, я тебя так люблю! Честное слово, аксакал, как отца родного.

— Э-эх, в твои-то годы! Другие вон машины гоняют, а ты языком своим не управляешь. Мне бы твои годы, да я бы, по крайней мере, на тракторе сидел бы.

— Аксакал, в армии командир мне сказал, что я неспособен по этой части. Зато я пехота, аксакал, а без пехоты — ни туды и ни сюды…

— Пехота! Лодырь ты, а не пехота. А жена у тебя…

У бога глаз нет. Сто таких, как ты, не стоят одной Гульджамал.

— Потому мы и здесь, аксакал, — я один, и она одна.

— Да что с тобой говорить. Здоровый как бык, а ума… — дед Момун безнадежно махал рукой.

— Му-у-у-у, — мычал и смеялся вслед ему Сейдахмат. Потом, остановившись посреди двора, запевал свою странную, невесть где услышанную песню:

С рыжих, рыжих гор
Я приехал на рыжем жеребце.
Эй, рыжий купец, открывай двери,
Будем пить рыжее вино!
С бурых, бурых гор
Я приехал на буром быке.
Эй, бурый купец, открывай двери,
Будем пить бурое вино!..

И так могло продолжаться бесконечно, ибо приезжал он с гор на верблюде, на петухе, на мыши, на черепахе — на всем, что могло передвигаться. Пьяный Сейдахмат нравился мальчику даже больше, чем трезвый.

И потому, когда появился подвыпивший Сейдахмат, мальчик приветливо улыбнулся ему.

— Ха! — воскликнул Сейдахмат удивленно. — А

мне сказали, что ты болеешь. Да ты вовсе не болеешь. Ты почему не бегаешь на дворе? Так не пойдет… — Он повалился к нему на постель и, обдавая спиртным духом и запахом сырого, парного мяса, который шел от его рук и одежды, стал тормошить мальчика и целовать. Щеки его, заросшие грубой щетиной, обожгли лицо мальчика.

— Ну, хватит, дядя Сейдахмат, — попросил мальчик. — А где дедушка, ты не видел его?

— Дед твой там, это самое, — Сейдахмат неопределенно покрутил руками в воздухе. — Мы это… Бревно вытаскивали из воды. Ну и выпили для согрева. А сейчас он, это самое, мясо варит. Ты вставай. Давай одевайся — и пошли. Как же так! Это неправильно. Мы все там, а ты один здесь.

— Дедушка не велел мне вставать, — сказал мальчик.

— Да брось ты, не велел. Пойдем посмотрим. Такое не каждый день бывает. Сегодня пир. И чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру! Вставай.

С пьяной неуклюжестью он стал одевать мальчика.

— Я сам, — пробовал отказаться мальчик, испытывая смутные приступы головокружения.

Но пьяный Сейдахмат не слушал его. Он считал,

что делает благо, поскольку мальчика бросили одного дома, а сегодня такой день, когда и чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру…

Пошатываясь, мальчик вышел вслед за Сейдахматом из дома. День в горах стоял ветреный, полуоблачный. Облака быстро перемещались по небу. И пока мальчик прошел веранду, погода дважды резко изменилась — от нестерпимо яркого солнечного дня до неприятной сумрачности. Мальчик почувствовал, как у него от этого заболела голова. Подгоняемый порывом ветра, в лицо ударил дым костра. Глаза защипало. «Стирают, наверно, сегодня белье», — подумал мальчик, потому что обычно костер раскладывали во дворе в день большой стирки, когда воду грели на все три дома в громадном черном котле. В одиночку этот котел и не поднимешь. Тетка Бекей и Гульджамал поднимали его вдвоем.

Мальчик любил большую стирку. Во-первых, костер на открытом очаге, — побаловаться можно с огнем, не то что в доме. Во-вторых, очень интересно развешивать выстиранное белье. Белые, синие, красные тряпки на веревке украшают двор. Мальчик любил и подкрадываться к белью, висящему на веревке, касаться щекой влажной ткани.

В этот раз никакого белья во дворе не было. А огонь под казаном разложили сильный — пар густо валил из кипящего казана, до краев наполненного большими кусками мяса. Мясо уже уварилось: мясной дух и запах костра защекотали обоняние, вызывали во рту слюну. Тетка Бекей в новом красном платье, в новых хромовых сапогах, в цветистом полушалке, сбившемся на плечи, наклонившись над костром, снимала поварешкой пену, а дед Момун, стоя подле нее на коленях, ворочал горячие поленья в очаге.

— Вон он, твой дед, — сказал Сейдахмат мальчику. — Пошли.

И сам только было затянул:

С рыжих, рыжих гор Я приехал на рыжем жеребце, —

как из сарая высунулся Орозкул, бритоголовый, с топором в руке, с засученными рукавами рубашки.

— Ты где пропадаешь? — грозно окликнул он Сейдахмата. — Гость тут дрова рубит, — кивнул он на шофера, коловшего поленья, — а ты песни поешь.

— Ну, мы это в два счета, — успокоил его Сейдахмат, направляясь к шоферу. — Давай, брат, я сам.

А мальчик приблизился к деду, стоявшему на

коленях подле очага. Он подошел к нему сзади.

— Ата, — сказал он.

Дед не слышал.

— Ата, — повторил мальчик и тронул деда за плечо. Старик оглянулся, и мальчик не узнал его. Дед тоже был пьян. Мальчик не мог припомнить, когда он видел деда хотя бы подвыпившим. Если и случалось такое, то разве где-нибудь на поминках иссык-кульских стариков, где водку подносят всем, даже женщинам. Но чтобы так просто — этого еще не случалось с дедом.

Старик обратил на мальчика какой-то далекий, странный, дикий взгляд. Лицо его было горячим и красным, и когда он узнал внука, еще больше покраснело. Оно залилось пылающей краской и тут же побледнело. Дед торопливо поднялся на ноги.

— Ты что, а? — глухо сказал он, прижимая к себе внука. — Ты что, а? Ты что? — И кроме этих слов, он не мог произнести ничего, словно утратил дар речи.

Его волнение передалось мальчику.

— Ты заболел, ата? — с тревогой спросил он.

— Нет-нет. Я так просто, — пробормотал дед Момун. — Ты иди, походи немного. А я тут дрова, это самое…

Он почти оттолкнул внука от себя и, будто отвернувшись от всего мира, снова повернулся лицом к очагу. Он стоял на коленях и не оглядывался, никуда не смотрел, занятый лишь собой и костром. Старик не видел, как внук его растерянно потоптался и пошел по двору, направляясь к Сейдахмату, коловшему дрова.

Мальчик не понимал, что произошло с дедом и что происходило во дворе. И лишь подойдя поближе к сараю, он обратил внимание на большую груду красного свежего мяса, наваленного кучей на шкуру, разостланную но земле волосом вниз. По краям шкуры еще сочилась бледными струйками кровь. Поодаль, там, куда выбрасывали нечистоты, собака, урча, мотала требуху. Возле кучи мяса сидел на корточках, как глыба, какой-то незнакомый огромный темнолицый человек. То был Кокетай. Он и Орозкул с ножами в руках разделывали мясо. Спокойно, не торопясь, перекидывали они расчлененные мослы с мясом в разные места на растянутой шкуре.

— Удовольствие одно! А запах какой! — говорил басом черный дюжий мужик, принюхиваясь к мясу.

— Бери, бери, бросай в свою кучу, — щедро предлагал ему Орозкул. — Бог дал нам из своего

стада в день твоего приезда. Такое не каждый день случается.

Орозкул при этом пыхтел, то и дело вставал, оглаживал свой тугой живот, точно он объелся чего-то; и сразу было заметно, что он уже крепко выпил. Задыхался, сипя, и вскидывал голову, чтобы передохнуть. Его мясистое, как коровье вымя, лицо лоснилось от самодовольства и сытости.

Мальчик оторопел, холодом обдало его, когда он увидел под стеной сарая рогатую маралью голову. Отсеченная голова валялась в пыли, пропитанной темными пятнами стекшей крови. Она напоминала корягу, выброшенную с дороги. Возле головы валялись четыре ноги с копытами, отрезанные в коленных суставах.

Мальчик с ужасом глядел на эту страшную картину. Он не верил своим глазам. Перед ним лежала голова Рогатой матери-оленихи. Он хотел бежать отсюда, но ноги не повиновались ему. Он стоял и смотрел на обезображенную, мертвую голову белой маралицы. Той самой, что вчера еще была Рогатой матерью-оленихой, что вчера еще смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, той самой, с которой он мысленно разговаривал и которую он заклинал принести на рогах волшебную колыбель с

колокольчиком. Все это вдруг превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсеченные ноги и выброшенную вон голову.

Надо было ему уйти, а он стоял, окаменев, не соображая, как и почему все это произошло. Черный дюжий мужик, тот, что разделывал мясо, поддел из кучи острием ножа почку и протянул ее мальчику.

— На, мальчик, изжарь на углях, вкусно будет, — сказал он.

— Возьми! — приказал Орозкул.

Мальчик протянул руку, не чуя ее, и стоял теперь, сжимая в холодной руке еще теплую, нежную почку Рогатой матери-оленихи. А Орозкул тем временем поднял за рога голову белой маралицы.

— Ох и тяжелая! — покачал он ее на весу. — Рога одни сколько весят.

Он пристроил голову боком па колоду, взял топор и принялся вырубать рога из черепа.

— Ай да рога! — приговаривал он, с хрястом всаживая острие топора в основание рогов. — Это мы деду твоему, — он подмигнул мальчику. — Как помрет, поставим рога ему па могилу. Пусть теперь скажет кто, что мы его не уважаем. Куда больше! За такие рога не грех хоть сегодня поме-

реть! — хохотнул он, нацеливаясь топором.

Рога не поддавались. Оказалось, не так просто их вырубить. Пьяный Орозкул рубил невпопад, и это бесило его. Голова свалилась с колоды. Тогда Орозкул стал рубить ее на земле. Голова отскакивала, а он гонялся за ней с топором.

Мальчик вздрагивал, всякий раз невольно пятился, но не мог заставить себя уйти отсюда. Как в кошмарном сновидении, прикованный к месту жуткой и непонятной силой, он стоял и дивился тому, что остекленевший, немигающий глаз Рогатой матери-оленихи не бережется топора. Не моргает, не зажмурится от страха. Голова давно уже извалялась в грязи и пыли, но глаз оставался чистым и, казалось, все еще смотрел на мир с немым, застывшим удивлением, в котором застала его смерть. Мальчик боялся, что пьяный Орозкул попадет по глазу.

А рога не поддавались. Орозкул все больше выходил из себя, свирепел и, уже не разбирая, бил по голове как попало — и обухом, и лезвием топора.

— Да так поломаешь рога. Дай мне, — подошел Сейдахмат.

— Прочь! Я сам! Черта с два — поломаешь! — прохрипел Орозкул, взмахивая топором.

— Ну как хочешь, — плюнул Сейдахмат, на-

правляясь к себе домой.

За ним последовал тот самый черный дюжий мужик. Он тащил в мешке свою долю мяса.

А Орозкул с пьяным упорством продолжал четвертовать за сараем голову Рогатой материоленихи. Можно было подумать, что он совершал долгожданную месть.

— Ах ты, сволочь! — с пеной у рта пинал он голову сапогом, точно мертвая голова могла его слышать. — Ну, нет, врешь! — налетал он с топором снова и снова. — Не я буду, если не доконаю тебя. На тебе! На тебе! — крушил он топором.

Череп трещал, отлетали по сторонам осколки костей. Мальчик коротко вскрикнул, когда топор невзначай пришелся поперек глаза. Из развороченной глазницы хлынула темная, густая жидкость. Умер глаз, исчез, опустел…

— Я и не такие головы могу размозжить! И не такие рога обломаю! — рычал Орозкул в припадке дикой злобы и ненависти к этой безвинной голове.

Наконец ему удалось проломить череп и в темени и на лбу. Тогда он бросил топор, схватился обеими руками за рога и, прижимая ногой голову к земле, крутанул рога со зверской силой. Он вырывал их, и они затрещали, как рвущиеся корни.

То были те самые рога, на которых мольбами мальчика Рогатая мать-олениха должна была принести волшебную колыбель Орозкулу и тетке Бекей…

Мальчику стало дурно. Он повернулся, уронил почку на землю и медленно побрел прочь. Он очень боялся, что упадет или что его стошнит тут же, на I лазах у людей. Бледный, с холодной, липкой испариной на лбу, он проходил мимо очага, в котором ошалело горел огонь, над которым клубился горячий пар из котла и у которого, повернувшись ко всем спиной, сидел по-прежнему лицом к огню несчастный дед Момун. Мальчик не стал беспокоить деда. Ему хотелось быстрей добраться до постели и лечь, укрыться с головой. Не видеть, не слышать ничего. Забыть…

Навстречу ему попалась тетка Бекей. Нелепо разряженная, но с сине-багровыми следами Орозкуловых побоев на лице, худющая и неуместно веселая, носилась она сегодня в хлопотах «большого мяса».

— Что с тобой? — остановила она мальчика.

— У меня голова болит, — сказал он.

— Да милый ты мой, болезный, — сказала она вдруг в приступе нежности и принялась осыпать его поцелуями.

Она тоже была пьяна. От нее тоже противно разило водкой.

— Голова у него болит, — бормотала она умиленно. — Родненький ты мой! Ты, наверно, кушать хочешь?

— Нет, но хочу. Я хочу лечь.

— Ну так идем, идем, я тебя уложу. Что ж ты будешь один-одинешенек лежать. Ведь все будут у нас. И гости, и наши. И мясо уже готово. — И она потащила его с собой.

Когда они проходили снова мимо очага, из-за сарая появился Орозкул, упревший и красный, как воспаленное вымя. Он победоносно свалил возле деда Момуна вырубленные им маральи рога. Старик привстал с места.

Не глядя на него, Орозкул поднял ведро с водой и, запрокидывая его на себя, стал пить обливаясь.

— Можешь помирать теперь, — бросил он, отрываясь от воды, и снова припал к ведру.

Мальчик слышал, как дед пролепетал:

— Спасибо, сынок, спасибо. Теперь и помирать но страшно. Как же, почет мне и уважение, стало быть…

— Я пойду домой, — сказал мальчик, чувствуя слабость в теле.

Тетка Бекей не послушалась.

— Нечего тебе там одному, — и почти насильно повела его в дом. Уложила на кровать в углу.

В доме у Орозкула все уже было готово к трапезе. Наварено, нажарено, наготовлено. Всем этим оживленно занимались бабка и Гульджамал. Бегала между домом и очагом на дворе тетка Бекей. В ожидании большого мяса баловались слегка чаем Орозкул и черный дюжий Кокетай, полулежа на цветных одеялах, с подушками под локтями. Они сразу как-то заважничали и чувствовали себя князьями. Сейдахмат наливал им чай на донышки пиал.

А мальчик тихо лежал в углу, скованный, напряженный. Снова его знобило. Он хотел встать и уйти, но боялся, что стоит ему только слезть с кровати, как его тут же вырвет. И потому он судорожно держал в себе этот комок, застрявший в горле. Боялся шевельнуться лишний раз.

Вскоре женщины вызвали Сейдахмата во двор. И появился он затем в дверях с горой дымящегося мяса в огромной эмалированной чашке. Он с трудом донес эту ношу и поставил ее перед Орозкулом и Кокетаем. Женщины внесли за ним еще разные кушанья.

Все стали рассаживаться заново, приготовили

ножи и тарелки. Сейдахмат тем временем разливал водку по стаканам.

— Командиром водки буду я, — гоготал он, кивая на бутылки в углу.

Последним пришел дед Момун. Странный, слишком уж жалкий вид против обычного имел сегодня старик. Он хотел приткнуться где-нибудь сбоку, но черный дюжий Кокетай великодушно попросил его сесть рядом с ним.

— Проходите сюда, аксакал.

— Спасибо. Мы тут, мы ведь у себя, — пробовал отказаться дед Момун.

— Но все же вы самый старший, — настоял Кокетай и усадил его между собой и Сейдахметом. — Выпьем, аксакал, по случаю такой удачи вашей. Вам первое слово.

Дед Момун неуверенно прокашлялся.

— За мир в этом доме, — сказал он вымученно. — А там, где мир, там и счастье, дети мои.

— Правильно, правильно! — подхватили все, опрокидывая в глотки стаканы.

— А вы что ж? Нет, так не пойдет! Желаете счастья зятю и дочери, а сами не пьете, — упрекнул Кокетай засмущавшегося деда Момуна.

— Ну разве что за счастье, я что ж, — заторопился старик.

На удивление всем, он ахнул до дна почти полный стакан водки и, оглушенный, замотал старой головой.

— Вот это да!

— Наш старик не чета другим!

— Молодец ваш старик!

Все смеялись, все были довольны, все хвалили деда. В доме стало жарко и душно. Мальчик лежал в тягостных муках, его все время мутило. Он лежал с закрытыми глазами и слышал, как опьяневшие люди чавкали, грызли, сопели, пожирая мясо Рогатой матери-оленихи, как угощали друг друга вкусными кусками, как чокались замызганными стаканами, как складывали в чашку обглоданные кости.

— Не мясо, а молодой жеребенок! — похвалил Кокетай, причмокивая губами.

— А что ж мы, дураки, что ли, жить в горах и не есть такого мяса, — говорил Орозкул.

— Верно, для чего мы здесь живем, — поддакивал Сейдахмат.

Все хвалили мясо Рогатой матери-оленихи: и бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал, и даже дед Момун. Мальчику тоже совали и подавали на тарелке мясо и другие кушанья. Но он отказывался, и, видя, что ему нездоровится, пьяные оставили

его в покое.

Мальчик лежал, стиснув зубы. Ему казалось, что так легче будет удержать тошноту. Но еще больше мучило его сознание собственной беспомощности, то, что не в силах был ничего поделать с этими людьми, убившими Рогатую мать-олениху. И в своем детском праведном гневе, в отчаянии мальчик придумывал разные способы отмщения, как бы он мог наказать их, заставить понять, какое страшное злодеяние совершили они. Но ничего лучшего не сумел придумать, кроме как мысленно позвать на помощь Кулубека. Да, того самого парня в солдатском бушлате, приезжавшего с молодыми шоферами за сеном в ту буранную ночь. Это был единственный человек из всех, кого знал мальчик, кто мог бы одолеть Орозкула, сказать ему всю правду в глаза.

...По зову мальчика Кулубек примчался на грузовике, выскочил и кабины с автоматом наперевес:

— Где они?

— Там они!

Побежали вдвоем к дому Орозкула, рванули двери.

— Ни с места! Руки вверх! — грозно приказал с порога Кулубек, направляя автомат.

Все обалдели. Оцепенели от страха, кто где сидел. Куски застряли у них в глотках. С мослами в жирных руках, с жирными щеками и жирными ртами, объевшиеся, пьяные, они не смогли даже шевельнуться.

— А ну, встань, гадина! — Кудубек приставил автомат к виску Орозкула, и тот затрясся весь, заикаясь, упал к ногам Кулубека.

— По-щади, не-не-убивай ме-ме-меня!

Но Кулубек был неумолим.

— Выходи, гадина! Конец тебе! — крепким пинком поднаддал он под жирную задницу Орозкула, заставил его встать, выйти из дома.

И все, кто были, перепуганные и молчаливые, вышли во двор.

— Становись к стене! — приказал Кулубек Орозкуку. — За то, что ты убил Рогатую мать-олениху, за то, что ты вырубил ее рога, на которых она приносила люльку, — тебе смерть!

Орозкул упал в пыль. Заползал, завыл, застонал:

— Не убивайте, у меня ведь и детей нет. Один я на всем свете. Ни сына у меня, ни дочери…

И куда девалась его надменность, его спесь! Жалкий и ничтожный трус. Такого даже убивать не захотелось.

— Ладно, не будем убивать, — сказал мальчик Кулубеку. — Но пусть этот человек уйдет отсюда и больше никогда не возвращается. Не нужен он здесь. Пусть уходит.

Орозкул встал, подтянул штаны и, боясь оглянуться, затрусил прочь — жирный, обрюзгший, с обвисшими галифе. Но Кулубек остановил его:

— Стой! Мы тебе скажем последнее слово. У тебя никогда не будет детей. Ты злой и негодный человек. Тебя никто здесь не любит. Тебя не любит лес, ни одно дерево, даже ни одна травинка тебя не любит. Ты фашист. Уходи — и чтобы навсегда. А ну, побыстрей!

Орозкул побежал без оглядки.

— Шнель! Шнель! — хохотал ему вслед Кулубек и для страху пальнул из автомата в воздух.

Радовался мальчик и ликовал. А когда Орозкул скрылся из виду, Кулубек сказал всем другим, виновато стоявшим у дверей:

— Как же вы жили с таким человеком? И не стыдно вам?

Облегчение почувствовал мальчик. Совершился справедливый суд. И так поверил он в свою мечту, что забыл, где находится, по какому случаю пьянствовали в доме Орозкула.

...Взрыв хохота вернул его из этого блаженного

состояния. Мальчик открыл глаза, прислушался. Деда Момуна в комнате не было. Вышел, наверно, куда-то. Женщины убирали посуду. Готовились подавать чай. Сейдахмат что-то громко рассказывал. Сидевшие смеялись его словам.

— Ну и что дальше?

— Рассказывай!

— Нет, слушай, ты расскажи, ты повтори еще раз, — чуть не умирая от смеха, просил Орозкул, — как ты ему насчет этого? Как ты его напугал. Ой, не могу!

— Так вот, значит, — Сейдахмат охотно принялся повторять уже рассказанное. — Только мы стали подъезжать к маралам, а они стояли на опушке в леску, все три. Только мы привязали коней к деревьям, старик мой вдруг хватает меня за руку. «Не можем, — говорит, — мы стрелять маралов. Мы — бугинцы, дети Рогатой матери-оленихи!» А сам смотрит на меня, как ребенок. Умоляет глазами. А я — хоть стой, хоть падай — подыхаю со смеху. Но не засмеялся. А, наоборот, так это серьезно. «Ты, что, — говорю, — в тюрьму хочешь угодить? — „Нет“, — говорит он. „А ты знаешь, что байские сказки эти, придуманные в темные байские времена, чтобы, значит, запугивать бедняцкий народ!“ А он тогда и рот раскрыл:

„Да что ты?“ — говорит. „Вот то-то, — говорю, — ты эти разговорчики оставь, а не то не посмотрю, что старик, напишу на тебя куда следует“.

— Ха-ха-ха! — рассмеялись дружно сидевшие.

И больше всех Орозкул. Уж он-то хохотал в усладу.

— Ну, а потом подкрадываемся мы. Другой бы зверь давно сиганул бы, и след простыл, а эти полоумные маралы не бегут, вроде бы и не боятся нас. Ну, тем лучше, думаю, — прихвастывая, рассказывал пьяный Сейдахмат. — Я впереди с ружьем. Старик позади. И тут на меня сомнение напало. В жизни я еще воробья не подстреливал. А тут такое дело. Не попаду — рванут по лесу, и ищи их. Попробуй угонись за ними. Уйдут за перевал. Кому это нужно, такую дичь упускать? А старик у нас охотник, медведя валил в свое время. Я ему и говорю: «Вот тебе ружье, старик, стреляй». А он ни в какую! «Сам, — говорит,

— стреляй». А я ему: «Да я же пьяный», — говорю. И сам шатаюсь, вроде на ногах не стою. А он видел, когда мы вывезли бревно из реки, с вами же вместе бутылочку распили. Вот я и прикинулся.

— Ха-ха-ха!..

— «Я не попаду, — говорю, — уйдут маралы,

второй раз не вернутся. А нам с пустыми руками не стоит возвращаться. Сам знаешь. А то смотри. Зачем нас сюда послали?» Молчит. А ружье не берет. «Ну, — говорю, — как хочешь». Бросил я ружье и вроде бы ухожу. Он за мной. «Мне, — я говорю, — все равно, выгонит меня Орозкул, пойду в совхоз работать. А ты куда на старости?» Молчит. И я так это, потихоньку, для картины, значит:

С рыжих, рыжих гор Я приехал на рыжем жеребце.

Эй, рыжий купец, открывай двери!..

— Ха-ха-ха!..

— Поверил, что я и впрямь пьян. Пошел за ружьем. Я тоже вернулся. Пока мы пререкались, маралы наши ушли чуть подальше. «Ну, — говорю, — смотри, уйдут, не догонишь. Стреляй, пока они непуганы». Взял старик ружье. Стали подкрадываться. А он все шепчет, как полоумный: «Прости меня, Рогатая мать-олениха, прости…» А я ему свое: «Смотри, — говорю, — промажешь — убегай вместе с маралами куда глаза глядят, лучше не возвращайся».

— Ха-ха-ха!..

В пьяном чаду и хохоте мальчику становилось все жарче и душнее, голова раскалывалась от раз-

бухающей, не умещающейся в голове боли. Ему казалось, что кто-то пинал ногами его голову, что кто-то рубил его голову топором. Ему казалось, что кто-то метит топором в его глаза, и он мотал головой, старался увернуться. Изнемогая от жара, он вдруг очутился в холодной-холодной реке, Он превратился в рыбу. Хвост, туловище, плавники — все рыбье, только голова оставалась своей и к тому же болела. Он поплыл в приглушенной, темной подводной прохладе и думал о том, что теперь навсегда останется рыбой и никогда не вернется в горы. «Не вернусь, — говорил он сам себе. — Лучше быть рыбой, лучше быть рыбой…»

И никто не заметил, как мальчик слез с кровати и вышел из дома. Он едва успел зайти за угол, как его начало рвать. Хватаясь за стену, мальчик стонал, плакал и сквозь слезы, задыхаясь от рыданий, бормотал:

— Нет, я лучше буду рыбой. Я уплыву отсюда. Я лучше буду рыбой.

А в доме Орозкула за окнами гоготали и выкрикивали пьяные голоса. Этот дикий хохот оглушал мальчика, причинял ему нестерпимую боль и муки. Ему казалось, что дурно ему оттого, что он слышит этот чудовищный хохот. Отдышавшись, он пошел по двору. Во дворе было пусто. Возле

угасшего очага мальчик наткнулся на смертельно пьяного деда Момуна. Старик лежал здесь в пыли рядом с вырубленными рогами Рогатой матери-оленихи. Обрубок маральей головы грызла собака. Больше никого не было.

Мальчик наклонился над дедом, потряс его за плечо.

— Ата, пойдем домой, — сказал он. — Пойдем.

Старик не отвечал, он ничего не слышал, он не мог поднять головы. Да и что ему было отвечать, что сказать?

— Ну вставай, ата, пойдем домой, — просил мальчик.

Кто его знает, понимал ли он умом своим детским или же невдомек было ему, что старый Момун лежал здесь в расплату за сказку свою о Рогатой матери-оленихе, что не по своей воле посягнул он на то, уважение к чему сам внушал ему всю жизнь, — на память предков, на совесть и заветы свои, что пошел он на это дело ради злосчастной своей дочери, ради него же, внука…

И теперь, сраженный горем и позором, старик лежал, как убитый, лицом вниз, не отзываясь на голос мальчика.

Мальчик присел возле деда, пытаясь расшевелить его.

— Ата, ну подними голову, — просил он. Мальчик был бледен, движения его были слабы, руки и губы дрожали. — Ата, это я. Ты слышишь? — говорил он. — Мне очень плохо, — заплакал он. — У меня голова болит, очень болит.

Старик застонал, шевельнулся, но не смог прийти в себя.

— Ата, а Кулубек приедет? — спросил вдруг мальчик сквозь слезы. — Скажи, Кулубек приедет? — тормошил он его.

Он заставил деда перевалиться на бок и вздрогнул, когда к нему повернулось лицо пьяного старика, запятнанное грязью и пылью, с жалкой свалявшейся бороденкой, и почудилась мальчику в ту минуту голова белой маралицы, изрубленной давеча топором Орозкула. Мальчик отпрянул в страхе и, отступая от деда, проговорил:

— Я сделаюсь рыбой. Ты слышишь, ата, я уплыву. А когда придет Кулубек, скажи ему, что я сделался рыбой.

Старик ничего не отвечал.

Мальчик побрел дальше. Спустился к реке. И ступил прямо в воду.

Никто еще не знал, что мальчик уплыл рыбой по реке. На дворе раздавалась пьяная песня:

С горбатых, горбатых гор

Я приехал на горбатом верблюде.
Эй, горбатый купец, открывай двери,
Будем пить горькое вино!..

Ты уплыл. Не дождался ты Кулубека. Как жаль, что не дождался ты Кулубека. Почему ты не побежал на дорогу. Если бы ты долго бежал по дороге, ты непременно встретил бы его. Ты бы узнал его машину издали. И стоило бы тебе поднять руку, как он тотчас бы остановился.

— Ты куда? — спросил бы Кулубек.

— Я к тебе! — ответил бы ты.

И он взял бы тебя в кабину. И вы поехали бы. Ты и Кулубек. А впереди по дороге скакала бы никому не видимая Рогатая мать-олениха. Но ты бы видел ее.

Но ты уплыл. Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу. Что не доплывешь до Иссык-Куля, не увидишь белый пароход и не скажешь ему: «Здравствуй, белый пароход, это я!»

Одно лишь могу сказать теперь — ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом мое утешение.

И в том еще, что детская совесть в человеке

— как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди…

Прощаясь с тобой, я повторяю твои слова, мальчик: «Здравствуй, белый пароход, это я!»